



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СВЕТЛОСТ»
УЛ. ПУШКИНА, 100, АРМЯВЕНСКИЙ РАЙОН, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ
WWW.SVETLOST.COM

РИЛЬКЕ

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ



РАЙНЕРМАРИЯРИЛЬКЕ

ЛИРИКА

Перевод с немецкого
Т. СИЛЬМАН



Издательство «Художественная литература»
М о с к в а · 1 9 6 5 · Л е н и н г р а д

И (Нем.)
Р — 50

Вступительная статья и примечания
В. А д м о н и

Оформление художника
Н. Л ь в о в о й

ПОЭЗИЯ РАЙНЕРА МАРИИ РИЛЬКЕ

I

Среди поэтов Запада, выступивших со своими произведениями на рубеже XX века, одно из первых мест занимает Райнер Мария Рильке (1875—1926). Для немецкой поэзии Рильке, являвшийся в глазах многих современников живым воплощением поэтического начала, был примерно тем же, чем был для русской поэзии в начале нашего века Александр Блок. И есть немало общих черт между творчеством Блока и творчеством Рильке.

В поэзии Рильке, хотя он и был далек от подлинно революционных сил эпохи — сил социалистического пролетариата, — воплотились такие переживания и состояния души, которые явились чем-то новым и важным для множества людей на рубеже XX века. Искусство Рильке выразило предчувствие огромных потрясений и сдвигов, предстоявших человечеству в XX веке, в их катастрофическом, трагедийном ракурсе. Та человеческая душа, которая с необычайной откровенностью обращается к нам

в поэзии Рильке, — это душа человека, глубоко заглянувшего в ужас общественного бытия в мире воцаряющегося империализма, это душа человека, жаждущего обновления человеческого существования.

«На рубеже веков мой век течет» — так начинается одно из стихотворений Рильке. И о веках здесь идет речь отнюдь не только в календарном смысле. У Рильке, как и у некоторых других крупнейших поэтов тех лет (снова вспомним А. Блока!), все более явственно возникает ощущение полной исчерпанности и невыносимости реальных форм современной жизни.

Гуманистическая поэзия Рильке сложилась как одно из проявлений неприятия жестокой капиталистической действительности эпохи империализма со стороны наиболее чутких представителей интеллигенции — хранителей лучших традиций мировой культуры.

Страшен облик мира, который является предпосылкой и общим фоном для всего творчества Рильке. Нищета и уродство, больные, безнадежно одинокие люди — так изображает Рильке повседневную жизнь в своем самом крупном прозаическом произведении «Заметки Мальте Лауридса Бригге» (1910). Сходный облик присущ современному миру во многих ранних новеллах и пьесах Рильке и в сборнике стихотворений «Часослов» (1899—1905).

А в одном наброске 1907 года Рильке пишет, что осенью

непомерность жизни и страданья
настигает нас во всех вещах.

Правда, Рильке настоятельно предостерегал против непосредственно социального осмысления своих

произведений — даже произведений с отчетливо социальной тематикой. Он хотел, чтобы их трактовали в ином — этическом или эстетическом смысле. Но от социальной сути изображаемых Рильке картин современной жизни все же никуда уйти нельзя. Эта суть просвечивает сквозь все этические построения, сквозь все метафизические концепции, в особенности там, где Рильке с негодованием и ужасом говорит о современных больших городах, бессмысленных и нелепых, уничтожающих всякую «живую тварь». Сострадание к угнетенным пронизывает все творчество Рильке.

Как бы предчувствуя надвигающуюся полосу войн и фашистской агрессии, Рильке, как и ранний Томас Манн, с величайшим недоверием и страхом относится ко всему миру буржуазной практической деятельности. Симпатия и сострадание Рильке распространяются на людей, далеких от внешней активности, как бы «претерпевающих» жизнь. Как протест против жестокости и античеловечности, бездушности и грубости современной социальной действительности выступает у Рильке требование интенсивной внутренней жизни — духовной и эмоциональной.

Чем сильнее чувство потерянности и заброшенности человека, тем явственнее предстает в поэзии Рильке и другое чувство, противопоставленное ему, — чувство теснейшей взаимосвязанности человека с другими людьми и вещами, его неразрывного родства со всем миром, вообще всеобщей слиянности («И все живет слиянностью одной...»). Демократическое в своей основе, при всей своей метафизической окрашенности, это чувство в восприятии Рильке

наполняет человека особой мощью, получает космический размах и становится основой неповторимого поэтического своеобразия его лирики.

Сила восприятия и вчувствования поэта такова, что он ощущает себя в полном единстве с вещами, они существуют как бы в нем и через него:

И розы день кончается во мне...

Всеобщая связь вещей у Рильке не означает их растворения друг в друге. Путь к вещам для Рильке — это прежде всего особое, образное и пантеистически-одухотворяющее постижение их особенностей, их внутреннего своеобразия, живущего в них и организирующего их закона. Именно в таком постижении внутренней сути вещей, их внутренних закономерностей Рильке достигает наибольшей глубины, именно здесь его дар всматриваться и вслушиваться в окружающие его предметы выступает с наибольшей силой. Не случайно некоторые из его стихов начинаются с того, что поэт наконец приблизился к постижению того или иного предмета или явления, что-то поведал о них:

Я вдруг узнал так много о фонтанах,
о сказочных деревьях из стекла,
таких всегда загадочных и странных.

Правда, объекты этого внутреннего постижения отбираются по особым приметам. Это прежде всего самые простые, постоянно встречающиеся вещи и события, отношения между людьми и состояния человеческой души: расставание любящих и случайная встреча в аллее, созревание плода и облик читающего человека, прогулка приютских мальчиков и полет мяча и т. д.

Всеобщая одушевленность мира и взаимосвязанность всех вещей и явлений носит у Рильке порой религиозное обличье, как это вообще часто бывает свойственно пантеистическим системам восприятия мира. «Часослов» написан как бы от лица русского монаха, вся жизнь которого есть непрестанное стремление приблизиться к богу. Но этот бог менее всего похож на бога какой-либо существующей религии, в частности — христианской. Это живое единство земного бытия, воплощение доведенного до предела эмоционального подъема человеческой души. Здесь нет ухода от конкретной, земной жизни. Показательна, например, такая строфа:

С потусторонним больше не играя
и смерть не выставляя напоказ,
служа земному, о земном мечтая,
достойно встретим свой последний час.

А после «Часослова» отсутствие традиционного религиозного начала у Рильке сказывается еще более прямо. Его попытки выразить свое ощущение единства мира в обобщенном образе направляются в сторону мифологии, весьма своеобразной, хотя и опирающейся на античную («Дуинезские элегии», «Сонеты к Орфею»).

В первые десятилетия XX века пантеистически-гуманистическое утверждение всеобщей связи и единства всех вещей и явлений мира звучит в творчестве многих поэтов разных стран.

Рильке выделяется среди них тем, что это восприятие не только становится для него предметом поэзии, но и служит основой метода изображения. Его дар всматриваться и вслушиваться в вещи обращен именно на то, чтобы замечать в них общее

и родственное, чтобы видеть мертвое живым, живое — человеческим, человека — собратом вещей, а вещь — собратом человека, чтобы ощущать предметность движений и текучесть предметов. И в этом одна из основ его поэтичности.

Процессы и состояния, свойства и качества выступают у Рильке в вещном обличье. Время в его стихах можно «выпустить из рук» — так, как роняют вещи или выпускают на свободу птицу; свершение хочет «склониться» к человеку. Предметные понятия, конкретные и абстрактные, даже лица, выступают как процессы и состояния, как протекающие события. Рильке говорит о красоте, которая «еще никогда не свершалась», и о девушках, которые «начинаются». У людей, освещенных ночью электрическим светом, «на ладонях повисли тяжелые жесты», а свет ламп «стекает с их лиц». Люди и вещи отождествляются:

...ты — камень у самой воды,
и в ней отразился весь.

На фоне этой всеобщей уравниности вещей и явлений, этой принципиальной однородности разнокачественных слов естественны и те далекие сравнения и отождествления, которых так много в поэзии Рильке, его перевоплощаемость в любой предмет и любую земную тварь.

Показательно, что среди всего словарного многообразия Рильке ему особенно дороги слова повседневного обихода — «бедствующие в буднях», «неприметные», «слова простые, сестры-замарашки». И этот принцип поэтики Рильке связан с тем, что для него важна и обладает глубоким содержанием, своим особым законом существования даже простей-

шая вещь. В стихах Рильке весомым и драгоценным становится каждое, самое будничное и стертное слово.

Такой своеобразный демократизм присущ и более общим эстетическим установкам Рильке. Он радуется и за простые, каждодневные, «будничные» темы, ибо прекрасное, по Рильке, не нуждается в слишком большой яркости и декоративности, оно скромно и может проявить себя и через самую простую вещь и в самом скромном человеке. Прекрасное «вырастает в пыли» (ср. стихотворение «Ты не горюй, что давно отцвели...»).

II

Искусство Рильке отличает предельная лиричность, порожденная даром всматриваться и вслушиваться в бытие людей и вещей и несомая напряженным чувством. При всех сдвигах в привычной сочетаемости слов, поэзия Рильке в своих лучших проявлениях обладает высокой естественностью. Черты чрезмерной усложненности присущи лишь отдельным произведениям Рильке, преимущественно более поздним. Конечно, значительное большинство стихотворений Рильке настолько емко по своему содержанию, обладает столь значительной и многомерной образной системой, что не поддается непосредственному исчерпанию, ведет читателя ко все новым переживаниям и постижениям, но это есть общее свойство подлинной лирической поэзии, которая всегда открывает перед читателем некую уходящую вдаль перспективу.

Одна из особенностей поэзии Рильке заключается в том, что эта поэзия, направленная на глубин-

ное постижение предмета, оказывается эмоционально в высшей степени действенной и доходчивой, что в контексте соответствующих стихотворений самые необычные и, казалось бы, невозможные сочетания понятий и слов становятся естественными и закономерными.

Это достигается прежде всего тем, что за неожиданными сближениями понятий и слов у Рильке все же стоят объективные и реальные, хотя и отдаленные, незаметные на первый взгляд, связи. Но помогает этим связям стать убедительными и непреложными весь строй поэзии Рильке. Этому служит ее неослабная эмоциональная напряженность, создающая предпосылку для того, чтобы естественным показалось сопоставление даже самых неоднородных вещей и явлений, если эмоциональному восприятию поэта удалось открыть в них черты, их объединяющие. Этому же служит и ритмическая стихия поэзии Рильке, ее гибкость и изменчивость, способность следовать за мельчайшими движениями эмоции и смысла. Этому служит и вся ее исключительная музыкальность, ее богатейшая инструментовка (аллитерация, повторение одинаковых гласных, многократная рифма), отнюдь не являющаяся простым украшательством или виртуозничанием, а создающая у Рильке в соответствии со всем восприятием мира как теснейшего единства такую цельность стиха, такую спаянность слов внутри него, что их всесторонняя связь подчеркивается и утверждается. Для Рильке, как он сам отмечал в своих письмах, чрезвычайно важно, чтобы звуки внутри стиха и в соседствующих стихах перекликались друг с другом. Короче говоря, все средства поэтической выразительности

мобилизуются здесь для создания максимальной цельности и художественной непреложности того строя образов, который дан в стихотворении.

В разных стихах, даже в разных строфах и в разных строках в первую очередь используются то одни, то другие из названных здесь и подобных им музыкально-эмоциональных средств (см., например, стихотворения «Детство», «О, глубинная жизнь, о, жизнь до слез...» и многие другие).

Объединение всего стихотворения в нерасторжимое, органическое единство достигается у Рильке и тем, что у него не только часто не совпадают границы предложения и границы стиха, но предложение нередко переливается и за пределы строфы (см., например, стихотворения «Остров сирен», «Мяч» и другие).

В поэзии Рильке слилось много как будто бы разнородных и даже противоречивых начал.

Стихи Рильке музыкальны и певучи. Но они также динамичны и полны напряжения. Особенно насыщены динамикой стихи «Часослова» и «Книги картин». Предметы даны в их движении и изменении. Динамичны и самый путь постижения предметов, которым идет поэт, и вся поэтика многих стихотворений. Эти черты определяют, в частности, два стихотворения Рильке (из «Книги картин»), которые переведены Б. Пастернаком, выразившим динамическое начало поэзии Рильке с большой силой. Вот первое из них:

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,

Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся
И буквы катятся, куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

От частных к общему, от ближнего к дальнему и вместе с тем от внешнего к более внутреннему — в таком направлении движутся чувство и сознание Рильке в этом стихотворении. Нарастающий космизм сочетается здесь с особенно глубоким погружением в душу человека. И так же построено второе стихотворение, в котором, как это вообще встречается у Рильке, широко использована в метафорическом плане библейская мифология — образ человека, вступающего в борьбу с посланцем небес:

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни и вещи обихода,
И даль пространств — как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, — малость.
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознании и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

Стихи Рильке сочетают непосредственность переживания с высочайшей организованностью, строгость рисунка с необычайной чуткостью и впечатлительностью, зримость и четкость в передаче внешних свойств предмета с выявлением его особой «настроенности», его неповторимой атмосферы, его внутренней сути. Конечно, специфический характер многих тем Рильке и его эмоционально-пантеистический подход к ним нередко ведут, как мы уже видели, к некоторой смутности, как бы «колеблемости» его образов. Но такая расплывчатость и смутность отнюдь не являются конечной художественной целью Рильке. Правда, следуя за романтическими традициями, он подчеркивает колеблющийся характер слова, невозможность полно выразить им суть вещей. Но вместе с тем Рильке стремится дать конкретный и четкий образ изображаемых им явлений. Они важны для него сами по себе, в своем реальном обличье, а не как символы и иносказания. Его пантера — это именно пантера, расставанье — расставанье, сад — сад; конечно, с той степенью обобщенности и типичности, которая вообще свойственна художественным образам и косвенно дает представление о мире в целом.

Если в пределах одного стихотворения Рильке не удастся раскрыть со своей точки зрения, в своих категориях и образах, предмет изображения в достаточной мере, он все снова возвращается к нему, как бы «кружит» вокруг него, создавая все новые и новые стихи, целые лирические циклы.

О своей поэтической работе Рильке в своих письмах неоднократно говорит как об «овладении увиденным», как о все более непосредственном «овладении реальностью».

Он хотел бы, чтобы вся его жизнь была процессом все более глубокого и полного поэтического постижения окружающего мира. Приехав в 1910 году после многолетнего перерыва снова в Рим, он видит, что парки и фонтаны Рима оказались несравненно примечательнее, даже чем то восторженное представление о них, которое сохранилось в его памяти, и он пишет: «А может быть, я снова несколько продвинулся вперед в созерцании... Но какого возраста следовало бы достичь, чтобы восхищаться в должную меру, чтобы ни в чем не отстать от мира». И для всего творческого пути Рильке чрезвычайно важно это стремление «не отстать от мира», поэтически воспринимать и изображать мир в его подлинности, хотя и с очень своеобразным и субъективным отбором явлений действительности.

Расцвет творчества Рильке — на рубеже XX века — совпал в немецкой поэзии с нарастающей тенденцией к решительному преобразованию формы стиха. Все более радикально отвергалось не только привычное строфическое членение стихотворений и рифма, но и единство ритмического рисунка стиха и строфы. Так, Арно Хольц выступает с теорией стиха, построенного на «необходимом ритме», то есть меняющего свой объем и свою ритмическую природу от строки к строке: ритм каждой строки должен строиться заново, как выражение ее смыслового и эмоционального содержания. Между тем у Рильке подобные формы встречаются лишь изредка и всегда эмоционально оправданы: например, резкие сдвиги ритма, сближающие стихотворную речь с прозой, в стихотворении «Слепая», где они призваны отразить

величайшее смятение человека, утратившего зрение. Вообще же Рильке, при всей музыкальности и гибкости своего стиха, сохраняет чаще всего и единство основного ритмического рисунка, и строфическое строение, и рифму.

Именно в таком сочетании строгой организации и смысловой сконцентрированности с необычайной музыкальностью и ритмической гибкостью, отчетливой поэтической формы с повышенной чуткостью к различным особенностям предмета изображения заключается одна из существенных черт творчества Рильке на фоне современной ему поэзии.

Вместе с такими чертами поэзии Рильке, как интенсивность и глубина изображенной ею душевной жизни, как пронизывающее ее стремление к величайшей близости с другими людьми и со всем миром, как ее обращенность к поэтическому познанию реальных вещей, эти особенности ее формальной структуры делают творчество Рильке своеобразным явлением в современной ему поэзии Запада, указывают на его особое место в развитии мировой поэзии XX века. В противоположность ведущим направлениям буржуазной поэзии нашего столетия, поэзия Рильке, при всей новизне своего художественного облика, противостоит всем попыткам разрушения поэтической формы, сохраняет непосредственную эмоциональность и обращенность к читателю. Именно этим и объясняется, что поэзия Рильке, эта поэзия огромной душевной силы, уже при жизни поэта стала любимой не только в узком кругу профессионалов, но и в широких слоях читателей.

III

Поэзия Райнера Марии Рильке не оставалась неизменной. На передний план выступали то те, то другие из отмеченных нами сторон его поэзии. Менялись и влияния, которые он испытывал со стороны действительности и искусства.

Рильке родился 4 декабря 1875 года в старинной Праге. В Чехии, входившей в то время в состав Австро-Венгрии, он провел всю свою юность.

В первых сборниках Рильке («Жертвы ларам», 1895; «Венчанный снами», 1896; «Перед рождеством», 1897) есть еще много подражательного. Наиболее сильно здесь воздействие Гейне и немецких романтиков.

В этих сборниках, особенно в «Жертвах ларам», ясно сказывается и влияние чешской народной поэзии, обращение к чешской народной жизни, изображается чешский ландшафт.

Явственно выступает в ранних стихах Рильке социальная тематика, проявляется его демократическая ориентация. Двадцатилетним юношей он начинает издавать сборники под названием «Подорожники», на обложке которых было напечатано: «Песни, подаренные народу». В предисловии к первому выпуску Рильке писал, что у бедняков нет денег купить даже самые дешевые книги, и свои «Подорожники» он, не имея сам никаких средств, бесплатно раздавал и рассылал по больницам, рабочим объединениям и т. д. Изведавший всю тяжесть отупляющего воспитания и военной муштры в кадетском корпусе, Рильке в эти годы выражает свое неприятие условий жизни человека в буржуазном мире.

Уже в первых сборниках, несмотря на нередкое употребление поэтических штампов, в отдельных стихах (например, в стихотворении «Жила без ласки, без привета...») проступают некоторые характерные черты его зрелой поэзии: сконцентрированное изображение человеческих переживаний, динамическая композиция, сдвиги в соединении отдельных слов и фраз. Широко представлены эти черты в сборниках, созданных в последние годы XIX и в самом начале XX века («Мне на радость», 1899; «Часослов», 1905; «Книга картин», 1902, второе дополненное издание — 1906).

Время вокруг 1900 года, творчески едва ли не самое богатое на всем жизненном пути Рильке, стоит под знаком России. Дважды за эти годы (в 1899 и 1900 годах) он совершал путешествие в Россию, оба раза посещал Л. Н. Толстого, побывал в Москве и Петербурге, посетил Киев и Харьков, Нижний Новгород и Саратов, жил в деревне Низовке на Верхней Волге у крестьянского поэта С. Д. Дрожжина. Рильке изучал русский язык, не только знал и любил русскую литературу, но и переводил русскую прозу и поэзию на немецкий язык (Чехова, Лермонтова, «Слово о полку Игореве» и др.), даже писал стихи на русском языке.

Особенно большое значение для Рильке имела сама встреча с Россией. Облик страны, ее городов и людей, пусть частично воспринятый сквозь дымку славянофильских и религиозных представлений, оказался решающим для его духовного развития. Именно здесь у него особенно углубляется и усиливается ощущение внутренней связи между людьми. «Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой» —

писал Рильке. Позднее он вспоминал, что Россия не только раскрыла перед ним «ни с чем не сравнимый мир — мир необыденных измерений», но и позволила ему «почувствовать себя братски принятым среди людей».

Весьма существенным было влияние на Рильке русской литературы, в первую очередь Л. Н. Толстого — особенно в плане проникновенного раскрытия тех летучих и, казалось бы, неуловимых движений души, которые составляют основной предмет изображения в поэзии Рильке. Покоряющая лиричность Рильке сочетается с глубоким аналитизмом в трактовке проблем душевной жизни. Именно это сближает его поэзию с искусством мастеров психологической прозы. Влияние русской литературы переплетается здесь с воздействием, которое оказала на Рильке литература скандинавских стран, особенно крупнейший датский писатель второй половины XIX века Йенс Петер Якобсен.

После поездок в Россию Рильке на некоторое время поселяется в местечке Вестерведе на севере Германии. Он женится. На свет появляется дочь. Но вскоре его попытка создать семью кончается неудачей: не хватает денег, супруги разъезжаются, а ребенка отдают бабушке.

Новый этап в творчестве Рильке начинается во время его длительного пребывания в Париже (с перерывами он живет во Франции с 1902 по 1911 год). Большое впечатление производит на Рильке новое французское искусство, особенно творчество Родена, с которым он был одно время близок и о котором написал прекрасную книгу. Под влиянием французской поэтической культуры и французского изыска-

зительного искусства (особенно под воздействием Родена) Рильке начинает уделять все больше внимания четкому пластическому изображению предмета, вообще формальной завершенности стихотворений. Незадолго до смерти Рильке писал: «Если Россия... в известном смысле стала основой моих переживаний и восприятий, то Париж стал основой... моей воли к изображению». Так в поэзию Рильке, вобравшую в себя лучшие и характернейшие традиции немецкой культуры, органически входят и существенные черты иных культур — славянских и романских.

В последние годы перед первой мировой войной Рильке предпринимает ряд путешествий: в Африку, в Испанию. Но его необычайная лирическая продуктивность иссякает. Поэт переживает кризис. Он ищет новых путей, ибо прежнее искусство больше не удовлетворяет его. И это не только факт личной биографии Рильке. Около 1910 года в той или иной форме происходит сдвиг в творчестве ряда очень разных писателей в разных странах мира — в частности, в творчестве Александра Блока, Августа Стриндберга, Томаса Манна. В обстановке все более явной и обостряющейся империалистической реакции их позиция, у каждого по-своему, становится более демократической, еще больше подчеркиваются их гуманистические устремления.

Но то новое искусство, к которому приходит Рильке после долгих и мучительных поисков, весьма своеобразно. Возрождая традиции немецкой классической поэзии, в первую очередь Гельдерлина, Рильке приходит к философской лирике, в которой общие вопросы бытия и отношения между человеком и миром переносятся в особую, мифологическую сферу.

В завершенных в 1922 году «Дуинезских элегиях» и в «Сонетах к Орфею» поэт ищет путей обуздания сил зла и раздора, утверждения гармонического начала в жизни и создает произведения большой поэтической весомости. Но их непосредственно-впечатляющая лирическая сила все же несколько ограничена сложностью лежащих в их основе метафизически-мифологических построений.

Новыми чертами характеризуется в период после 1910 года и формальная структура поэзии Рильке. Он порой отказывается теперь от строфического членения стихотворений, от сколько-нибудь единообразного ритмического строения строк, от рифмы, отходя от того синтезирования музыкально-эмоциональной гибкости и четкой поэтической формы, которое составляло своеобразие его творчества раньше. Рильке как бы присоединяется здесь к тем попыткам радикальной перестройки поэтической формы, которые предпринимались еще на рубеже XX века.

Но все же и в эти годы значительно большую роль в творчестве Рильке играют формы более организованные и четко построенные. Показательно, что поэтической формой для одного из двух самых обширных и значительных стихотворных циклов, создаваемых им в это время, он избирает форму сонета, правда, всячески варьируя и ритмически дифференцируя ее. А форма второго цикла, «Дуинезских элегий», восходит, как мы уже отмечали, к антикизирующей поэзии Гельдерлина, а в конечном счете к самой античной поэзии, и каждая элегия построена по отчетливой ритмической схеме.

Последние семь лет Рильке прожил в Швейцарии, в старинной башне Мюзот. Он умер 29 декабря

1926 года, когда его поэтическая слава уже прочно утвердилась. А истекшие после его смерти десятилетия позволили еще яснее увидеть все значение лирики Рильке.

В 1943 году И. Р. Бехер охарактеризовал Рильке как «совершенного знатока и мастера немецкого слова, обогатившего немецкую поэзию прекрасными творениями».¹

В годы после второй мировой войны Рильке остается самым популярным немецким лириком. Его произведения часто переиздаются. В 1962—1963 годах в Германской Демократической Республике было издано трехтомное собрание его сочинений.

Велика и мировая слава Райнера Марии Рильке. Опыт его поэзии в ее самых замечательных проявлениях уже давно стал составной частью лучших традиций мировой лирики.

В. Адмони

¹ И. Р. Бехер. Ясная Поляна, в сб. «Великий гнев». Ташкент, Госиздат УзССР, 1943, стр. 12—13.

СТИХОТВОРЕНИЯ



«ЖЕРТВЫ ЛАРАМ»

СРЕДНЕЧЕШСКИЙ ЛАНДШАФТ

Полоскою лесов далекой
поля окаймлены.
Деревья одинокие в хлебах
то тут, то там видны,
рассекшие равнину ржи высокой.
А на грядах
картофель солнцем озарен весь день,
в цвету стоит ячмень,
и обрамлен
простор еловой рощей. Завершен
ландшафт. Лишь вдалеке мелькает
крыша
и церкви крест багрово-золотой,
а выше —
небесный свод, слепяще голубой.

1894

ВЕЧЕР

Алой вспышкой огня
солнце скрылось за заставой,
и внушительной октавой
оборвались звуки дня.

Свет украдкой до сих пор
по карнизам пробегает,
и алмазами сняет
неба дымчатый простор.

1895

**В МОНАСТЫРСКИХ КОРИДОРАХ
ЛОРЕТТО**

По монастырским коридорам блики
меж вычурных мелькают арабесок,
из глубины давно поблекших фресок
таинственно глядят святые лики.

Там, за отсвечивающим стеклом,
мадонна восковая в углубленьи,
дарительница тысяч исцелений,
сидит в одеждах, тканых серебром.

И паутинки легкие блестят,
слетая в монастырский двор Лоретто,
и пред картиной в стиле Тинторетто
притихшие влюбленные стоят.

1895

ВЕСНА

Ликуют птицы, реет свет,
и гулко зазвенели дали;
в том парке, где мы танцевали,
все окунулось в белый цвет.

И солнце, глядя на газон,
в траве свое выводит имя.
Засыпан листьями сухими,
грустит забытый Аполлон.

Вокруг него все заросло
стенюю вьющихся растений,
и ветер веткою сирени
венчает светлое чело.

1895

НОЧЬЮ

Над Прагой бархатным цветком
простерлись своды ночи темной,
и солнце бабочкой огромной,
сверкая, скрылось за холмом.

И месяц, хитроумный гном,
свое забросил отражение
в реки дремотное теченье
и вниз скатился кувырком.

И что ж? Лучи его дрожат,
как будто кто его обидел:
на башенке он вдруг увидел
часов блестящий циферблат.

1895

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Тише! Тише! Над лугами
вьется легкий ветерок,
солнце теплыми лучами
нежит каждый лепесток.

Тихо все... Лишь у болота
квакают лягушки в такт,
в небе блещет позолотой
толстый жук, живой смарагд.

Там серебряные ромбы
ткет паук в тени садов,
и белеют гекатомбы
облетевших лепестков.

1895

КОГДА Я ПОСТУПИЛ
В УНИВЕРСИТЕТ

Так потихоньку, день за днем,
раскрутим нить воспоминаний;
был день, когда — предел мечтаний! —
я стал заправским школяром.

Сперва я был к юристам вхож,
потом бежал от этой секты:
сухие, пыльные пандекты
моей натуре — острый нож.

И теологию затем
я променял на медицину,
но, нервному поддавшись сплину,
нырнул в туман философем.

Так Alma mater день за днем
гоняла нас по всем регистрам...
Что ж, я не сделался магистром,
но стал заправским школяром.

1895

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА

Нам было весело когда-то
бродить вдоль берега реки,
где таяли в лучах заката
двойною тенью мотыльки.

У домика желтели дыни
и зелень тучная ползла, —
точь-в-точь у Доу на картине, —
и ввысь летели купола.

И хлеб стоял как золоченый,
кочны темнели на грядках,
и звезд белесые бутоны
слегка дрожали в небесах.

1895

НАРОДНЫЙ НАПЕВ

Мне так сродни
чешских напевов звуки —
смутную боль разлуки
будят они.

Слышишь?.. Поет
робко ребенок в поле,
чувство щемящей боли
в сердце встает.

Минут года,
будешь бродить по свету, —
грустную песню эту
вспомнишь тогда...

1895

ЛЕТОМ

Днем пароходик суетливый
увозит нас по Влтаве в Элихов,
скользим тихонько по волнам.
В тумане исчезает Смихов,
и Лорелея горделиво
сквозь легкий дым кивает нам.

Причалили. Старик усатый
нас встретил песней «Гей, славяне!»...
Виднелась церковка вдали...
Расположились на поляне,
и сны ватагою крылатой
нас в купол неба унесли.

1895

ИЗ ЦИКЛА «ВИГИЛИИ»

Покой, в полях сереющий,
душа моя не спит;
как парус пламенеющий,
вдали закат горит.

Дремотная вигилия!
Ночь ластится к реке;
и месяц белой лилией
расцвел у ней в руке.

*

Слышишь, мимо нас во мгле
ночь прошелестела?
Лампа на моем столе
как сверчок запела.

А на полке — корешки
радужной раскраски —
словно зыбкие мостки
в мир волшебной сказки.

1895

ИЗ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Лето. Праздничная Голька...
Я — мальчишка. Из окон
резвая несется полька,
воздух солнцем напоен.

Воскресенье. Мне Елена
вслух читает... Как кротка!
Лебедями Андерсена
проплывают облака.

Сосны-стражи смотрят зорко,
луг цветущий стерегут,
а на улице под горкой
слышен смех и там и тут.

Что за шум? Бежим к ограде:
хохот, пенье — не поймешь...
В летнем праздничном наряде
веселится молодежь.

Все на танцы! Вальс и полька!
Солнцем все освещено...
Лето. Праздничная Голька...
Это было так давно...

1895

МАЛЕНЬКИЙ DRÁTENÍK

Мальчишка-жестящик так молод,
товар у него за спиною,
он все плетется за мною:
«Ох, сударь, извел меня голод!

Вот сито, а вот мышеловка,
за Крајсаг отдам и жестянку, —
хоть хлеба купить, *milost' ránků!*» —
и кланяется неловко.

Да, денег у парня не густо,
а в кухне он чувствует жаркое, —
лудить-то приносят пустое,
оттого в животе его пусто.

1895



«ВЕНЧАННЫЙ СНАМИ»

ИЗ ЦИКЛА «СНЫ»

Старой и заглохшей ивы
в мае непривычен вид,
рядом — домик некрасивый
одинок и гол стоит.

Здесь в ветвях певали птицы,
было в домике светло,
а теперь печаль гнездится,
все ушло...

*

Где ты, счастье взоров голубиных?
Не найти его, не доискаться.
Светлая вода стоит в ложбинах,
вечер кровью брызнул в тень
акаций.

Девушки, смеясь, проходят мимо,
голоса за рощей отзвучали...

Снова звезды явятся, и с ними
сны, до края полные печали.

1895—1896

КОРОЛЕВСКАЯ ПЕСНЯ

Достойным и чистым всегда оставаться!
Лишь низкий унижен в сердце своем;
ты можешь и с нищими побрататься
и все же останешься королем.

И пусть на челе твоём озаренном
никогда не сиял венец золотой,
дети глядят на тебя восхищенно,
мечтатель склоняется пред тобой.

Зори сияньем тебя венчали,
пурпурную мантию дни тебе ткут,
даруя тебе мечты и печали,
ночи к ногам твоим упадут.

1896

ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ»

Как пришла любовь к тебе? Солнца лучом?
Или яблони цветом? Иль летним дождем?
Или молитвой? Ответь же!

Она с неба зарницей счастья сошла,
и, сложив два светлых своих крыла,
прильнула к душе расцветшей...

*

Мы так задумались глубоко,
нас было двое — ты и я.
В кустах, как будто издалека,
неслось жужжание шмеля.

Мелькали солнечные пятна,
все было тихо, ни души,
и я шепнул тебе чуть внятно:
«Твои глаза так хороши...»

*

В укромный, тихий уголок
я вместе с милой спрячусь.
Рука малютки, как цветок,
в руке моей горячей.

И темных лоз густая сень
раскрыла нам объятия.
и фиолетовая тень
легла на складки платья.

Нам грудь наполнил счастья хмель,
мы в вихре опьяенья...
Нам в бархат разодетый шмель
приносит поздравленья.

*

Над нами осенью дышали буки,
я шел, не поднимая головы...
«Взгляни, мой друг, на розы в час
разлуки!»
Но я сказал: «Они мертвы».

И я заплакал. А с небес пугливо
одна звезда заулыбалась мне...
День умирал. И резко и тоскливо
кричали галки в вышине.

*

Во сне, а быть может, весной
ты повстречала меня.

Но осень настала, и горько
ты плачешь при свете дня.

О чем ты? О листьях опавших?
Иль об ушедшей весне?
Я знаю, мы счастливы были
весной... а быть может, во сне.

*

Жила без ласки, без привета —
так, видно, было суждено...
Вдруг хлынуло потоком света, —
любовь ли, нет ли — все равно.

Потом ушло, — она осталась, —
глядит на пруд перед собой...
Как сон, все это начиналось
и обернулось вдруг судьбой.

1896



«ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

* * *

По сумеречной долине
я брел, не зная куда...
И вдруг в небесной сини
зажглась одна звезда.

Там, в небесах, томится
дрожащий огонек
и тоже вдаль стремится,
и тоже одинок...

1894

* * *

Как часто в смене душных будней
мечтаю о блаженном сне:
пусть поцелуем непробудным
он лоб тихонько тронет мне.

И звездный свет пускай струится —
он от дневных свободен пут,
и ночи зыбкие границы
пускай в сказанье перейдут.

1896

* * *

И разве то зовете вы душой,
что в вас звенит так тонко и неровно,
чтоб смолкнуть, как бубенчик шутовской?..
Что славы ждет с протянутой рукой?..
Что смерть приемлет в тусклой мгле часовни?
Душа ли это?

А я гляжу в ночи на майский цвет,
во мне как будто вечности частица
стремится вдаль, в круговорот планет,
она трепещет, и кричит им вслед,
и рвется к ним, и хочет с ними слиться...
Душа вся в этом...

1896

ПЕСНЯ ДЕВУШЕК

Девушки всё кого-то ждут,
когда кругом деревья цветут,
они, как приказано, шьют и шьют,
им очи слеза застиляет.
«Песенка наша невесела,
что нового нам весна принесла?
Быть может, его наконец привела,
да он нас теперь не узнает...»

1897

* * *

Как одиноко все и как бело.
А в белом замке тихо бродят тени.
Кругом стена из вьющихся растений,
и все дороги к замку замело.

И небо, как совиное крыло,
нависло над белеющим порталом...
Тоска блуждает по пустынным залам,
забыв о времени, — оно ушло...

1896

* * *

Где бы розу поалее
для букета мне сыскать?
Девушку, что всех милее,
в светлой липовой аллее
я хотел бы повстречать.

Коль она мне улыбнется,
на колени стать пред ней:
рот весенний разомкнется,
бледных губ моих коснется
и госки, тоски моей.

1896

* * *

Как сны мои тебя зовут!
Они кричат беззвучным криком,
в своем отчаяньи великом
они мне сердце разорвут.

Надежды нет. Осталось мне
лишь одинокое сомненье,
души больной оцепененье
в холодной, белой тишине.

1896

* * *

А будут угрожать позором,
когда ты болью сражена, —
ты погляди на них с укором,
и улыбнись им, о жена!

Уже ты в мир чудес шагнула,
щедра и телом и душой,
и бесконечность захлестнула
тебя волной.

1896

* * *

Мирное Ave с башен звучит...
Вслушайся в шепот церковных порталов;
дремлют дворцы у затихших каналов —
Венеция спит.

Сны всё чужое уносят прочь,
в темной воде отраженья повисли;
только гондолы, как черные мысли,
тревожат ночь.

1897

I MULINI

Ты, мельница, бы рада,
старушка, отдохнуть,
вечерняя прохлада
по рощам держит путь.

Все глуше и все тише
в ночи поет ручей,
а ты шапчонку-крышу
надвинешь до ушей.

1897

* * *

Всегда бледна, всему чужда,
грустишь о царстве белых лилий,
которые с тобой дружили, —
но вы расстались навсегда.

Из мира, где живут в пыли,
из мира подневольной муки
ты рвешься в край, в котором руки
твои как лилии цвели...

1897

* * *

Весна бы тебе показала
так много своих чудес,
но города ей мало —
ей нужен зеленый лес.

А кто из трущобы унылой
по узкой тропинке лесной
уходит, обнявшись с милой, —
тот встретится, верно, с весной.

1897



«РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

* * *

Мечтанья — это значит: все изведай
и будь бездомным в буйной смене дней.
Желанья — еле слышные беседы
часов бегущих с вечностью твоей.

И это — жизнь. Но вот из были мнимой
твой самый одинокий час встает,
и в немоте своей неизъяснимой
навстречу вечности течет.

1897

* * *

Хотел бы садом быть — в тени глубокой
все вновь там расцветают сновиденья,
одни — в мечтательности одинокой,
другие — в сладкогласьи единенья.

Словами я настигну их, летящих,
как шорохом вершин, как вод журчаньем,
и в грезы одурманенных и спящих
проникну ясновидящим молчаньем.

1897

* * *

Слова простые, сестры-замарашки,
я так люблю их будничн^{ый} наряд.
Я дам им яркость красок, и бедняжки
меня улыбкой робкой одарят.

Их суть, которую они не смели
явить нам, расцветает без оков,
и те, что никогда еще не пели,
дрожа вступают в строй моих стихов.

1897

* * *

Детских душ серебряные крылья,
чистых душ, что никогда не пели,
всё кружили, ближе всё кружили,
приближались к жизни и робели, —

вас не ждут ли разочарованья?..
Голос будней только слух ваш тронет —
в мерном гомоне существованья
пенье смеха вашего утонет...

1897

* * *

Вновь сады эти в дружбе со мною:
их цветы на клумбах бледны,
их дорожки под желтой листвою
ждут пришествия тишины.

А на озере в вечном круженьи
лебедь плавает по волнам.
На сверкающем опереньи
принесет он луны отраженье
к уходящим в тень берегам.

1897

* * *

В полях царило ожиданье,
как будто гостя кто-то звал,
и сад пугливо ждал свиданья
и улыбаться перестал.

Все ждут болота-домоседки, —
а там, в аллее, шорох стих,
и плачут яблоки на ветке
о том, что ветер ранил их.

1897

* * *

Там пыльная и скудная земля
не дружит с узкогрудыми домами,
там хижины уносятся мечтами
к просторам, где раскинулись поля.

Там робкая весна всегда бледна,
и лета лихорадочно-багровы;
там дети и растенья — нездоровы,
и только осень, может быть, одна

утешит нас: вечерняя заря
так мягко разлилась в небесной сини;
отара дремлет, и пастух в овчине
едва очерчен в свете фонаря.

1897

* * *

Мне вечер — книга. Переплета
сверкает пурпур дорогой;
его застежек позолоту
непешной разомкну рукой.

Читаю первую страницу,
счастливый в сладкой тишине,
затем к другой хочу склониться,
и вот уж третья снится мне,

1897

* * *

Дрожа, ощущаю порою
по жизни глубинный свой путь.
Слова воздвиглись стеною,
а за ними синеем грядою
и сияет их суть.

Еще не ясны мне приметы,
но есть такая страна:
коса там звенит с рассвета,
и лодка плещется где-то,
и кругом — тишина.

1897

* * *

Мне страшно прислушиваться к словам.
Так ясно люди говорят обо всем:
вот это собака, а это дом,
вот здесь конец, а начало там.

Страшна мне насмешек их злая игра,
они знают, что́ было, что́ может стать;
богатство — вот божья для них благодать,
а там все равно — что цветок, что гора.

Когда мне вещи поют — я так рад.
Но стоит их тронуть — они замолчат.
И я говорю вам: их голос тих.
Не трогайте их: вы убьете их.

1897

* * *

О глубинная жизнь, о жизнь до слез,
ты прислушивайся в молчаньи
и предчувствуй ветер прежде берез
и прежде их содроганий.

Тишина пусть приходит на твой порог,
и пускай твои чувства не дышат,
и пускай тебя легонький ветерок
и баюкает и колышет.

Ты, душа моя, в эту тишь, в эту тишь
устремишься, взмахнув крылами,
и огромною птицею пролетишь
над задумчивыми вещами.

1898

* * *

Знаю: тайна жертвоприношенья
каждый вечер так проста —
словно размыкаются уста,

словно вдруг услышаны моления

на колени ставшего куста.

В небе звезды всходят в те мгновенья,
и за ними всходит темнота.

1898

* * *

Когда ты проходишь вдоль той стены,
в чужом саду уже бродят тени,
и розы его тебе не видны,
и все же ты в таком восхищеньи,
что слышишь их, словно жен приближенье.

Верно, идут они по две в ряд,
каждая стан другой обнимает;
первыми красные розы звучат,
а затем еле слышно вступает
белых, белых роз аромат..

1898

* * *

Это розы проснулись
и тихонько потом
дню весны улыбнулись,
ароматом взметнулись,
словно ласточкиным крылом;

но еще все полны
боязнью весны.

Еще звук не ручной,
еще свет не дрожит,
еще сумрак чужой —
и в прекрасном есть стыд.

1898

* * *

Поздним вечером ветер вздремнул,
как ребенок, спросонок вздохнул...
По аллеям дыхание прошло,
тихо-тихо скользнуло в село.

Бродит ощупью за прудом,
пробирается в сад,
и стоит сиротливо дом,
и деревья молчат...

1898

* * *

Девчонкой робкою в семье
росла я до тех пор,
но вот однажды на заре
к нам гость пришел во двор.
Услышав лютни первый звук,
предчувствуя беду,
я матери сказала вдруг:
«Я все равно уйду!»...

Я знала, чуть он начал петь,
что это жизнь моя.
Скажи мне, гость, ответь, ответь:
ведь это жизнь моя?

О, сколько счастья, сколько зла
ты в юность внес мою:
судьба моя за мной пришла,
зачем я рано расцвела
и рано слезы лью?

Он пел. И с песнею чужой
вошла ко мне беда;

он пел, что сбудется со мной,
и он ушел с моей судьбой,
и взял меня с собой, с собой —
никто не знал — куда...

1898

* * *

Тех женщин уже не назвать молодыми...
Не раз и мечты и детей теряли,
и снова рожали,
и снова рожали;
и знают они: от этой печали
мы все будем старыми и седыми.

И все их владенье у них под рукой.
И разве что колокола гуденье
для них не утратило значенья —
к вечерне бредут знакомой тропой.

Когда дороги сереть начинают
и в Кампанье свежо и почти темно,
они улыбку свою вспоминают,
как песню, пропетую кем-то давно...

1898

* * *

Вечером стали опять
все на сирóт похожи;
самые близкие тоже
чужими успели стать.
Словно из дальних краев,
держатся стен домов,
бредут пустыми садами,
ждут и не знают сами,
чего они ждут...
Чуть слышно незримые руки
собственной песни звуки
из жизни чужой зачерпнут.

1898

* * *

Как звать тебя — восход или закат?
Увы, нередко утра я не рад,
и роз его меня смущает алость...
Пророчит флейта немоту и вялость,
часов дневных печальный, длинный ряд.

А этот кроткий вечер снова мой,
и в нем мое разлито созерцанье;
в моих объятьях лес нашел покой;
я сам — его трезвон и трепетанье,
и этих скрипок темное звучанье
с моей созвучно темнотой.

1898

* * *

Кто может сказать мне, куда
я жизнью своей достигаю?
Быть может, я ветром, я бурей витаю
или волною быстрой вскипаю,
или я — бледная, мерзнущая в мае,
продрогшая березка у пруда?

1898

* * *

Тьма вырастает, как город-спрут,
и в нем по своим законам,
по переулкам мощеным,
по площадям незнакомым
тянутся нити и башни встают.

В тысячах башен город-спрут,
но кто же в нем обитает?..

В сумраке молчаливых садов
кружатся в танце сонмы снов
и кто-то на скрипке играет...

1898

* * *

Случалось ли тебе переживать
томленье дня в печальных закоулках?
Его улыбке время угасать...

На все легла прощания печать...
Меж стен усталых и немного гулких
квадраты окон стали исчезать.

Затерянные шепчутся предметы
и голос подают из темноты:
как мы загадочно переодеты,
мы в серого цвета
шелка разодеты,
все прячемся где-то,
и кто из нас — ты?

1898

* * *

Ты не горюй, что давно отцвели
астры в саду, что листья с земли
тихо слетают в пруд.

Прекрасное вырастает в пыли,
и силы, что зрели в нем и росли,
ломают старый сосуд.

Оно из растений
в нас перейдет,
в тебя и в меня;
чрезмерность лета его гнетет,
оно покидает налившийся плод —
прочь от пьянящих видений,
в сумерки нищего дня.

1900

* * *

Когда опять прольется свет луны,
стряхнув печали города-громады,
прильнем к узору стрельчатой ограды,
чьей тенью с садом мы разлучены.

Теперь уж он не тот, каким был днем:
в нем нет детей, нарядов, светотени,
сейчас он одинок в своем цветеньи
с открытым для бессонницы прудом.

И кажется, что белых статуй ряд
чуть-чуть шевéлится во тьме аллей,
и стали мраморнее и светлее
фигуры легкие у входа в сад.

Дороги, как распутанные пряди,
лежат рядами, тихие, без цели,
луна слегка касается полян;
и аромат цветов течет к ограде,
и над фонтанами в ночной прохладе
как будто струи плещут еле-еле —
след игр дневных...

Без даты



«ЧАСОСЛОВ»

ИЗ КНИГИ «О МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ»

И час этот пробил, ясен и строг,
и металлом коснулся меня.
Я дрожу. И я знаю: теперь бы
я смог
дать пластический образ дня.

Здесь ничто без меня не завершено,
и ничто не успело стать.
И мой взгляд все светлее —
ему дано
этот мир, как невесту, обнять.

Даже малая вещь для меня хороша
и в картине моей цветет
на сияющем фоне, — и чья-то душа,
с нею встретившись, оживет.

*

Моя жизнь — нарастающее круженье,
я кружу над вещами давно.
Суждено ли дожить мне до высших
свершений,
или к ним лишь стремиться дано?

Я кружу вокруг бога, вокруг башни
высокой —
это мой многотысячный круг —
и не знаю: я буря, а быть может, я сокол,
или песни неслыханной звук.

*

На рубеже веков мой век течет.
А прошлое — как лист, что испещрен
тобою, мною, богом... Дрогнул он...
И чья рука его перевернет?

Иные силы тянутся на смену,
невиданные до сих пор.

Теперь они выходят на арену,
вперив друг в друга тусклый взор.

*

Тебя во всех предметах я открою,
с которыми я братски сопряжен;
в былинке малой ты блеснешь росой,
в великом ты величьем отражен.

Волшебных сил движенье без оглядки,
идущее дорогою вещей:
растет в корнях, в стволе играет в прятки,
и воскресает в зелени ветвей.

1899

ИЗ КНИГИ
«О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ»

В деревне той стоит последний дом,
как будто впереди — конец всему.

Дорога повернула за холмом
и медленно ушла в ночную тьму.

Деревня — только робкий переход
между двух далей — все чего-то ждет, —
дорогой этой так легко уйти...

А кто ушел, тот все еще бредет
или давно уже погиб в пути.

✽

Уже земные короли
состарились и умирают.
Наследники их погибают,
а дочки бледные теряют
короны чахлые в пыли.

И чернь, что надо всем царит,
их быстро в деньги превратит
или в машины переплавит --
она теперь их волей правит,
но счастье их и здесь оставит.

Металл тоскует: с жизнью этой,
такой далекой от природы,
никак не может он смириться.
К чему машины и монеты?
Он бросит кассы и заводы
и снова в шахты возвратится,
гора закроется за ним.

*

Все станет вновь великим и могучим.
Деревья снова вознесутся к тучам,
к возделанным полям прольются воды,
и будут снова по тенистым кручам
свободные селиться скотоводы.

Церквей не будет, бога задавивших,
его оплакавших и затравивших,
чтоб он, как зверь израненный, затих.
Дома откроются как можно шире,
и жертвенность опять родится в мире,
в твоих поступках и в делах моих.

С потусторонним больше не играя
и смерть не выставляя напоказ,
служа земному, о земном мечтая,
достойно встретим свой последний час.

*

Уж рдеет барбарис, и ароматом
увядших астр так тяжело дышит сад.
Тот, кто на склоне лета не богат,
тому уж никогда не быть богатым.

И кто под тяжестью прикрытых век
не ощутит игры вечерних бликов,
и ропота ночных глубинных рек,
и в нем самом рождающихся ликов,
тот конченный, тот старый человек.

И день его — зиянье пустоты,
и ложью все к нему обращено.
И ты, господь. И будто камень ты,
его влекущий медленно на дно.

1901

ИЗ КНИГИ
«О БЕДНОСТИ И СМЕРТИ»

Господь, большие города
уже потеряны навеки;
здесь злые, пламенные реки
надежду гасят в человеке,
здесь время гибнет без следа.

Живут здесь люди скверно, тяжело,
в лачугах темных, как в преддверьи ада,
запуганное, загнанное стадо.
Земли твоей и свежесть и отрада —
все это навсегда от них ушло.

А под окошком вырастают дети,
такие тихие и бледные в тени,
и где им знать, что есть цветы на свете,
порывы ветра, солнечные дни, —
они молчат, они всегда одни.

И молодые девушки в печали
хотели бы от жизни отдохнуть;
а то, чего они так робко ждали,
не сбудется, и одинок их путь.

Их материнство — тайное страданье
в каморке тесной, приговор судьбы,
а дальше — ночи сдавленных рыданий
и годы без стремлений, без борьбы.
И смерти мгла взамен постели брачной,
и нет им счастья самых жалких крох;
они уходят медленно и мрачно,
их смерть — как нищенки последний вздох.

*

Но города, упрямы и нелепы,
идут путем безудержным своим.
Живую тварь они ломают в щепы,
и топливом народы служат им.

Здесь люди поступают в услуженье,
унизившись в достоинстве своем,
их черепашья скорость — достижение,
и непристойны их телодвиженья,
и, окрестив прогрессом унижение,
они гремят металлом и стеклом.

И будто мучит их обман жестокий,
себя они утратили давно,
и в золоте их гибели истоки,
они скудеют, множится оно...
Последняя отрада их — вино:
отравленные, пагубные соки
питают их звериные пороки...

1903



«КНИГА КАРТИН»

ВСТУПЛЕНИЕ

Кто б ни был ты, но вечером уйди
из комнаты, приюта тесноты;
на даль пространств за домом погляди,
кто б ни был ты.

И взглядом утомленным отдели —
прикован долго был к порогу он —
то дерево, что высится вдали,
и небо для него возьми как фон.
Ты создал мир. Великий и простой.
Как слово, что молчаньем рождено.
Но вот тебе познать его дано,
и в этот миг ты взор потупишь свой...

1900

РЫЦАРЬ

(Из стихотворений
к шестидесятилетию Ганса Тома)

Рыцарь в доспехах из черной брони
в сияющий мир летит.

А в мире есть все: и друзья,
и враги,
и милые девы, и майские дни,
и Грааль, и гора, и пиры, и огни,
и статуя бога, куда ни взгляни,
на всех углах стоит.

Но под панцирем рыцаря дремлет,
под жесткой кольчугой жметесь
и хмурится смерть. И он внемлет
словам: Пусть клинок взметнется
над изгородью железной,
неся мне освобожденье,
чужой клинок над бездной...

Тоска меня донимает
от долгого заточенья, —
прочь из каморки тесной!
Пусть смерть поет и играет
в свое воскресенье.

1899

ПЕСНЯ СТАТУИ

Найдется ль из любящих кто-нибудь,
кто жизнь мне готов подарить?
Согласен ли в море он утонуть
и тем мне, каменной, жизнь вернуть,
чтоб снова мне, снова жить?

Мила мне крови горячей волна,
а камень так тих.
И снится мне жизнь, потому что она,
как чаша, полна,
и снится отважный жених.

И если бы жизни той благодать
мне кто-нибудь подарил, —
.
я стану опять
о камне, о камне своем тосковать,
и кровь моя будет напрасно взывать, —
она не сможет у моря отнять
того, кто меня любил.

1899

МУЗЫКА

Что ты играешь, мальчик? Что за тень
по саду пролетела, словно птица?
Взгляни сюда: душа твоя стремится
в тот угол сада, где цветет сирень.

Она укрылась в глубине аллеи,
но возвратится, песней пленена;
пусть жизнь сильна, но песнь твоя сильнее,
твоей тоской навек уязвлена.

Дай ей молчанье — музыки ей мало,
пусть возвратится в вечное, родное,
где жизнь ее так плавно нарастала,
пока ты не увлек ее игрою...

Ты все, мечтатель, грезишь наяву,
а в этих крыльях боль и утомленье;
она взлетит и упадет в траву,
когда ее к себе я призову,
в мой сад, для высших игр и наслажденья.

1899

ЛЮДИ НОЧЬЮ

Ночь не для толп людских создана,
с соседом тебя разлучит она,
и ты не тянись к нему.
А если ты ночью затеплил ночник,
чтоб людям в лицо заглянуть на миг,
сначала подумай — кому.

Люди при свете совсем не те,
свет ламп стекает с их лиц.
Иногда они сходятся в темноте —
колеблемый мир, в своей суете
поверженный ниц.
С чела у них отблесков тех желтизна
стерла последние мысли,
во взоре пляшет пламень вина,
а на ладонях повисли
тяжелые жесты: ими друзья
объясняются между собой;
они произносят: я, меня,
а думают: тот, любой.

1899

ИЗ ЧЬЕГО-ТО ДЕТСТВА

Тьма в доме, все сгущаясь, нарастала,
в ней где-то притаился мальчуган.
И мать вошла и как во сне ступала,
и тонко зазвенел в шкафу стакан.
Преодолев предательскую тьму,
она поцеловала сына: «Ты?»
Стоял рояль средь полной немоты,
и звуки песни вспомнились ему,
еще ребенку ранившие грудь.

Он ждал. И взгляд его хотел прильнуть
к ее руке, что к клавишам припала, —
как странник, тихий и усталый,
что меж сугробов держит путь.

1900

НА СОН ГРЯДУЩИИ

Хочу баюкать кого-нибудь,
и быть у него, и сидеть.
Хочу уговаривать в чем-нибудь,
и качать, и песенки петь.
И быть единственным в доме твоём,
и знать, что ночь холодна.
И слушать, где лес и где водоем,
и жизнь мерить до дна.
Часы замедляют времени бег
перекличкой на все голоса.
И внизу проходит чужой человек
и тревожит чужого пса.
И потом все тихо. И я гляжу
на тебя. И времени нет.
И тихонько снова глаза отвожу,
чуть во тьме шевельнется предмет.

1900

СТРАШНО...

В лесу увядшем слышен птичий зов,
такой бессмысленный в лесу увядшем.
И все же этот ровный птичий зов,
летя до самых облаков,
как небеса широк в лесу увядшем.
И все как бы вместилось в этот крик:
окрестности безмолвно в нем почили,
и ветер смолк, и звуки все застыли,
и этот миг, что устремлен вперед,
так тих и бледен, словно знает тайну, —
всех, кто ее постиг случайно,
она влечет к могиле.

1900

МОЛИТВА

Ночь, тихая, в твой сумрак вплетены
и белые и пестрые предметы.
Цвета в их суетности — все приобщены
к единой мгле и тихости, — и мне ты
в дар принеси родство с тем миром верной
тебе общности. Или чрезмерной
ты мнишь мою игру со светлым днем?
Иль мнишь, что буду я лицом
досадно от предметов отличаться?
Но разве эти руки не ложатся
совсем так, как орудье или вещь?
И разве вид кольца
на этой, вещной до конца
руке моей, не скромн — руки эти
не сходны с той дорóгой, что при свете
ветвится так же, как во тьме глубокой?..

1900

ДВИЖЕНИЕ · ВПЕРЕД

И снова жизнь моя шумит потоком,
между широких берегов текущим, —
с вещами в братстве, день за днем растущем,
я и с картинами в родстве глубоком.
И весь я в том неназванном, далеком, —
то птицей с распростертыми крылами
парю под ветреными небесами,
то чувством вдруг в игру полутенями
на дно пруда, как рыбой, унесен.

1900

СЕРЬЕЗНАЯ МИНУТА

Кто на свете плачет сейчас,
без причины плачет сейчас —
плачет обо мне.

Кто в ночи смеется сейчас,
без причины смеется сейчас —
смеется надо мной.

Кто на свете блуждает сейчас,
без причины блуждает сейчас —
идет ко мне.

Кто на свете гибнет сейчас,
без причины гибнет сейчас —
глядится в меня.

1900

О ФОНТАНАХ

Я вдруг узнал так много о фонтанах,
о сказочных деревьях из стекла,
таких всегда загадочных и странных.
Они — как ночь рыданий неустанных,
что на заре из памяти ушла.

Но как забыть мне: есть в краях небесных
то, что вторгается в дела земные.
Как мне не знать величия чудесных
старинных парков, как не знать прелестных
и мягких вечеров, а в бестелесных
девичьих песнях не искать глухие
звучания мелодии чужой,
что в сумерках витает над водой
и отражается в прудах неизвестных?

Мне стоит вспомнить эти впечатленья
и что со мной тогда произошло,
и я захвачен тяжестью паденья
воды, такой похожей на стекло;
и вспомню о ветвях, что зеленели,

о голосах, что тихо пламенели,
и о прудах заглохших, еле-еле,
как бы в затмени, берег отражавших,
о вечерах, тихонько догоравших
над лесом, искалеченным пожаром,
темнеющим, обугленным и старым, —
таких закатов не было нигде...

Я знал: звезда не тянется к звезде,
друг другу безразличны все планеты.
Миры текут в пространстве, и везде
как будто слезы... Или мы согреты
любовью тех существ? И их обеты
возносятся сюда? И их поэты
считают небом наши сферы?.. В битвах
за нас сражаются, и к нам в молитвах
обращены, и шлют нам, ввысь, проклятья...
Нам, наверху, не слышно их рыданий,
нам не постигнуть разочарований
всех тех, кто бога своего теряет,
покуда лик его близ нас витает,
как свет их ламп, что смутен и далек
и беглой тенью нам на лица лег...

СЛЕПАЯ

Незнакомец

Не страшно ль говорить об этом?

Слепая

Нет.

Все то ушло. И та была другою.
Та видела. Она жила так шумно,
и умерла.

Незнакомец

Была ли тяжелой смерть?

Слепая

Смерть — ужас для непосвященных.
Чужая смерть — и та для нас тяжка.

Незнакомец

Тебе она чужда?

Слепая

Пожалуй, стала.

Смерть даже мать от сына отчуждает.
В те дни, однако, было все так страшно.
Все тело было ранено. А мир,
цветущий, зреющий в вещах,
был из меня тогда как с корнем вырван,
и сердце тоже (так казалось мне).
Была я как разверстая земля
и дождь холодных слез глотала,
который из умерших глаз сочился
так тихо, будто небо опустело,
и бога нет, и вниз упали тучи.
И слух мой вырос, всем вещам открывшись.
Услышать я неслышное смогла:
и время, что текло по волосам,
и тишину, что в хрустале звенит...
Я чувствовала: мимо рук моих
прошло дыханье пышной белой розы.
Я думала все снова: ночь и ночь,
полоской будто где-то свет мелькнет,
но видеть день мне не дано;
казалось, утро тихо настает, —
а утро здесь уже давно.
И матери кричала я, когда
меня давил и мучил темный бред,
и я звала ее: «Сюда, сюда!
Дай свет!»
И слушала. Пыталась уловить,
окаменев, шагов ее шуршанье,
и вдруг мне виделось сиянье —
то были матери рыдания,
которые мне не забыть.
Дай свет! Дай свет! — кричала я во сне. —
Пространство убери! Оно мешает мне,

оно сдавило мне лицо и грудь, —
о, пусть оно взметнется,
и пусть оно снова к звездам вернется,
мне тяжело жить, ведь небо упало на меня.
С тобой ли говорю, мама?
Или с кем другим? Кто там спрятался?
Кто там за портьерой? Зима?
Мама! Буря? Мама! Ночь? Скажи!
Или день?.. День!
Без меня! Как же день может быть без
меня?

И никто не заметил, что меня нет?
И никто не спросил обо мне?
Неужто о нас забыли?
О нас?.. Но ты-то ведь там,
у тебя ведь все есть, да?
Вокруг твоего лица все предметы живут,
желая ему добра.
И когда тебе пора
отдохнуть, и глаза твои устали,
они всё ещё глядят.
...А мои молчат.
Мои цветы без меня побледнеют,
зеркала мои оледенеют,
и строчки моих книг сольются.
Мои птицы разлетятся по чужим улицам,
чтобы с криком о чужие стекла биться.
Мне больше не к чему стремиться.
Я совсем одинока.
Я — остров.

Незнакомец

А я моря проплыл и океаны.

С л е п а я

Ты? Доплыл до острова? Странно!

Н е з н а к о м е ц

Еще в челне я,
нас бури качали.
Я тихо к острову причалил,
едва коснувшись дна.

С л е п а я

Я — остров, и я одна.
Но я не бедна.
Сначала, когда уцелели
пути в моих нервах, они болели,
утомясь от вчерашнего дня,
и терзали меня.
У меня из сердца все ушло прочь,
казалось тогда — совсем;
мне было так трудно себя превозмочь,
и я не знала — зачем.
И все чувства мои и я сама,
стоя у входа, кричали в крик
у замурованных глаз, навеки застывших, —
о, мои чувства, с дороги сбившиеся...
Быть может, они там годы стояли,
но помню только недели;
они возвратились, они уцелели,
но никого не узнали.

Затем тропинка к глазам заросла.
Мне ее не узнать.
И я существую опять —
тихонько, как будто бы отдыхая.

каждое чувство во мне живет,
по темному зданию тела бредет.
Другие как будто чигают
воспоминанья о прошлом;
а те, что помоложе,
те смотрят вперед.
Ибо по краям моего существа
оболочка моя из стекла.
Мой лоб все видит, моя рука прочла
стихи, повстречавшись с руками чужими.
И нога моя с камнем мостовой говорит,
и для птиц мой голос звенит —
он летит вслед за ними.
Теперь мне снова все краски даны,
они переведены
в запах и в звук.
И они бесконечно прекрасны
в звучаньи.
И мой лучший друг
не книга, а ветер, который шумит;
я слышу слова, что он мне говорит,
и тихо их повторяю.
И когда настанет мой смертный час,
смерть не найдет моих глаз.

Незнакомец
(тихо)

Я знаю...

ОДИНОЧЕСТВО

И одиночество над нами
как дождь: встает над морем вечерами
и простирается там, за холмами,
до неба, им чреватого всегда.
И с неба падает на города.

Ливнем оно струится на рассвете
на переулки, смутные вначале,
когда тела обнявшиеся эти
уже того не ищут, что искали,
и люди в ненависти и в печали
одной постелью связаны навеки...

Тут одиночество уходит в реки.

1902

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Господь, пора! Пусть летний зной спадет.
Укрась долину длинными тенями,
и над полями ветер пусть поет.

Плодам последним дай еще одну
неделю жгучую, продли их радость,
вели их тяжести дозреть и сладость
последнюю дай терпкому вину.

А кто бездомен, будет им и впредь.
Кто одинок, тот должен им остаться,
в тоске по парку будет он скитаться,
не спать, слать письма другу и смотреть,
как вихрем листья по аллее мчатся.

1902

ОСЕНЬ

Все падают поблекшие листы,
как будто в далях неба — увяданье;
и в этом их паденьи — жест прощанья.

И вечерами падает в молчанье
наш шар земной из звездной высоты.

Все падает. Тот лист невдалеке.
Твоя рука. Ты сам. Без исключенья.

Но есть один, он держит все паденья
с безмерной нежностью в своей руке.

1902

МАЛЬЧИК

Хотел бы быть таким же я, как те,
что, яростью коней повелевая,
при факелах, как туча огневая,
летят навстречу ветрам в темноте.
На колеснице первым быть меж ними...
Как знамя, я развернут, как в челне,
несусь вперед. Сверкает шлем на мне
тревожным блеском. А за мною в ряд,
из тьмы рождаясь, воины летят.
Их шлемы — словно тусклые огни:
горят, мерцают, светятся они.
И звуком рога воздух потрясен,
пространство отступило, сметено,
вскруг лишь одиночество одно,
мы сквозь него проносимся, как сон.
И на колени падают дома,
и нам навстречу улочка трепещет,
и площади вот-вот сойдут с ума,
и кони, словно ливень, землю хлещут.

1902—1903

СОСЕД

Скрипка чужая, ты ищешь меня?
Всюду со мной говорит твоя
одинокая ночь городская.
А ты все та же? Или другая?

Разве во всех городах от века
есть люди, которые без тебя
давно бы уже затерялись в реках?
И почему в ответе я?

Почему живут за стеною моею
вечно те, в чьих руках ты трепещешь
и поёшь, что жизнь тяжелее
даже самой тяжелой вещи.

1902—1903

PONT DU CARROUSEL

Там на мосту слепой старик застыл,
безмолвный, словно камень пограничный,
предмет, как будто бы для всех привычный,
и средоточье неких тайных сил.
Вокруг него — и звезд беззвучный хор,
и блеск, и звон, и шумных жизней спор.

Суровой правды олицетворенье,
он на путях запутанных встает,
в подземный мир неотвратимый вход
в глазах поверхностного поколенья.

1902—1903

ЛЮБЯЩАЯ

О тебе тоскую и готова
словно выпасть из своих же рук,
без надежды, что тот ветер снова
принесет не сказанное слово
так всерьез, уверенно и вдруг.

...вспомнились былые времена мне:
жду, молчу, никто не позовет;
немота и непробудность камня
возле бормотанья сонных вод.

А теперь — весенние недели
плавно поднялись и полетели,
и чужими стали те года.
Будто жизнь мою под лаской солнца
кто-то отдал в руки незнакомца,
что меня не видел никогда.

1902—1906

ВОСПОМИНАНИЕ

И ты ждешь, и ты ждешь, чтоб коснулся
этих дней только отблеск один, —
чтобы смысла их содрогнулся
и чтоб камень проснулся,
глянув из тех глубин.

Чернеют книги в молчаньи
на полке, и, хмурия бровь,
вдруг ты вспомнишь свои скитанья,
и картины, и одеянья
женщин, утраченных вновь.

И внезапно ты знаешь: вот это!
И глядишь — и брезжит сквозь даль
того, ушедшего лета
облик, и боль, и печаль.

1902—1906

КОНЕЦ ОСЕНИ

Мне кажется, что-то чуть чуть
с недавних пор убывает,
и словно в нас вызывает
печаль по ком-нибудь.

И каждый раз сады
по-новому желтеют,
и тускло и блёкло рдеют,
как падающие плоды.
Как стал далек мой путь...

А там в прозрачном узоре
ряды опустевших аллей,
и будто за ними — море...
И в этом строгом просторе
мне тяжкое небо видней.

1902—1906

ОДИНОКИЙ

Я словно всплыл из глубины морей,
кажусь я чуждым всем извечно-здешним;
их дни полны сегодняшним и внешним,
а для меня чужая даль полней.

Особый мир соседствует со мной,
он населен не более луны;
а чувства здешних молят: где покой?
И все слова у них населены.

А вещи — те, что я привез сюда,
здесь не живут, в молчанье пребывая:
на родине все это — тварь живая,
а здесь они притихли — от стыда.

1904

ВЕЧЕР В СКОНЕ

Покинув парк, как покидают дом,
я очутился в сумерках; кругом
долина вечерела. На ветру
я постоял и стал ровесник тучам,
реке, полям и мельницам могучим,
вращающимся близко к рубежу
небесному... Теперь принадлежу
и я к вещам под небом...

Но взгляни:

пред нами разве
небеса одни?

На голубом — клубящаяся пена,
в ее кипеньи — всех оттенков смена,
а выше — тонкий серый цвет порой
слегка подкрашен, в розовом свеченьи,
и это все — в блаженном излученьи
прощальных бликов солнца...

Дивный строй,
законченный, подвижный, но не шаткий,

в нем есть фигуры, крылья, даже складки
тех гор, что прежде звезд существовали,
а дальше, вдруг: просвет в такие дали,
куда лишь птицы залетали...

1904

ВЕЧЕР

Медлительно роняя одеянья,
тебе сияет вечера краса;
два мира от тебя ушли в молчаньи:
один — к земле, другой — на небеса;

и, ни к какому не принадлежащий,
не смутен ты, как этот темный дом,
и не манишь, как этот свет дрожащий,
который мы созвездьями зовем.

Две жизни: ты не с этой и не с той,
и жизнь твоя то ввысь парит, то дремлет,
то молча ждет, то все вокруг объемлет —
то камнем обернувшись, то звездой.

1904

ДЕТСТВО

Там школьных дней неистощим поток,
заброшенность, и страх, и ожиданье.

И одиночество, и прозябанье...

А после: улиц звонкость и мельканье,
фонтанов искрометное журчанье...

Как этот сад, как этот мир широк!

Я рано вышел на его порог
в младенческом нехитром одеяньи;
о, время зябкое, о, прозябанье,
я одинок.

И дети пестротой тебя смущали,
и так необъяснимы были дали
мужчин и женщин, женщин и мужчин;
был где-то дом, и где-то пес один;
доверчивость, лишь робкая вначале...
О, грусть без смысла, сны, мечты, печали, —
о, глубина глубин.

И за мячом, за обручем гоняться
в закатных, догорающих лучах

и взрослых локтем лишь чуть-чуть касаться,
когда ты в дом вбегаешь впопыхах,
чему-то жесткому сопротивляться,
и словно чувствовать себя в тисках,
и с каждым днем все больше удивляться, —
о, скорбь, о, страх.

О, детство! На коленях, в упоеньи,
кораблики пускать в тиши пруда,
потом забросить все без сожаленья
для новых игр: не стоило труда!..
И размышлять о бледном отраженьи,
что в сером сумраке таит вода...
О, вдаль ушедшие уподобленья...
Куда, куда?

1905—1906

ПЕСНЯ ВДОВЫ

Сначала жизнь была легка.
Я молода была и крепка.
А что беда недалеко,
откуда знать мне было?
Я жизни не ведала тогда,
но потихоньку шли года,
и к нам явившаяся беда
нам надвое жизнь разбила.

Тут не повинны ни я, ни он,
терпеньем был каждый наделен
(у смерти его так мало).
Я поняла: его смерть близка,
она отнимала по капле — пока
совсем его не стало.

А что же мое? чем владею я?
Ведь даже нищая жизнь моя
мне в долг судьбою дана.
Судьба не только счастье возьмет,
мученья и вопли — ее доход,
и горем торгует она,

Судьба ждала моего конца,
скупала румянец с моего лица,
походки моей красоту.
То был постоянный аукцион,
потом окончился и он —
и вот я гляжу в пустоту.

1906

ПЕСНЯ СИРОТЫ

Я — ничто, я ничем никогда не была.
Я для жизни слишком слаба и мала;
и никто меня не жалеет;

ни отец, ни мать не пригреет —
их рано судьба отняла.

Да я и не стою забот:
мне ввысь уже не расти.
Я никому не нужна, а час мой пробьет —
уж меня не спасти.

У меня и платье одно,
на нем так много заплат,
оно на весь век мне дано —
в гости к господу богу наряд.

И венец волос моих мал
(да что с меня взять?),
а тот, кто их часто ласкал, —
никого уж не будет ласкать.

1906

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всевластна смерть.
Она на страже
и в счастья час.
В миг высшей жизни она в нас
страждет,
ждет нас и жаждет —
и плачет в нас.

1900—1901



«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(Часть I)

ПАНТЕРА

Париж, Jardin des Plantes

От мерного мельканья черных прутьев
все растерял ее усталый взгляд.
Ей мнится, будто прутья стали сутью
и будто пусто позади оград.

Глухая мягкость поступи упругой,
кружение без отдыха и сна —
как танец сил по крохотному кругу,
где в центре воля спит, оглушена.

Лишь изредка случайный образ глянет
в зрачок, приотворившийся едва,
и в немоту тугого тела канет,
и сгинет в сердце навсегда.

1903

ПОЭТ

Миг, ты ранишь меня, улетая.
Этих крыльев пагубна тень.
И замкнулись уста. Я не знаю,
что мне ночь теперь, что мне день?

Что любовь, что дом, что уют?
Я один перед целым светом,
и себя я дарю предметам,
и они меня вновь раздают.

1905—1906

СМЕРТЬ ПОЭТА

Так он лежал. Лицо его, храня
все ту же бледность, что-то отвергало,
оно когда-то все о мире знало,
но это знание угасало
и возвращалось в равнодушие дня.

Где им понять, как долог этот путь;
о, мир и он — все было так едино:
озера, и ущелья, и равнина
его лица и составляли суть.

Лицо его и было тем простором,
что тянется к нему и тщетно льнет, —
а эта маска робкая умрет,
открыто предоставленная взорам, —
на тленье обреченный, нежный плод.

1906

РАССТАВАНЬЕ

Дано мне расставанье ощутить.
В чем суть его, теперь мне стало ясно:
злой мрак объемлет то, что так прекрасно,
чтоб ярче оттенить — и поглотить.

Я беззащитен был в минуты эти,
меня позвали, бросили; одно
мне виделось — все женщины на свете
как бы слились в то белое пятно.

Оно кивало, уж не мне, мелькнуло
совсем вдали, мелькало без конца —
иль это только ветка деревца,
с которого кукушка вдруг вспорхнула?

1906

АВТОПОРТРЕТ 1906 ГОДА

Дворянского стареющего рода
неукротимость жесткая бровей.
А взгляд — как у испуганных детей:
в нем и смиренность есть и несвобода,
но не раба, а женщины скорей.
И рот как рот, все шире и точней
с годами; все яснее год от года
отражена в нем истины природа;
и лоб — в игре задумчивых теней.

Во всем как бы предчувствуется связь:
ибо в страданиях, в счастье, в невезеньи
ничто еще не знало обобщений,
словно случайно где-то в отдаленьи
мысль о глубоком, сущем родилась.

1906

КАРУСЕЛЬ

Jardin du Luxembourg

С дощатой крышей, с тенью от нее,
короткий срок влечется хоровод
лошадок пестрых — мир, что долго ждет,
пока загасит бытие свое.

Из них иная экипаж везет,
но все горды движеньями своими;
злой рыжий лев кружится вместе с ними,
и белый слон порою промелькнет.

И даже есть олень с большим седлом —
такой и в чаще мог бы повстречаться —
и голубая девочка на нем.

И мальчик в белом: он рукою правой
вцепился в гриву, лев его несет,
язык из пасти высунув кровавый.

И белый слон порою промелькнет.

И мимо пестрым хороводом мчатся...

И девушки... им все еще по нраву
и взлет коней и детская забава,
их взгляд скользит, чтоб где-то потеряться...

И белый слон порою промелькнет.

И все несется мимо, затихая,
вращаясь и верша бесцельный путь.
Зеленым, серым, розовым мелькая
и профилем, намеченным чуть-чуть...
И иногда улыбкой одаряя,
которую наполнила до края
волнующей игры слепая суть...

1906

ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Как факел, что и вспыхнул и потух,
когда огонь не хочет заниматься,
дразня своей игрой, так входит в круг
собравшихся и начинает вдруг
ее безумный танец разгораться.

И вот он в яркий пламень перерос.

И языки пылающих волос
кольцом огня зажгли ее наряд,
и весь он вихрем яростным объят,
и только руки, спугнутые змеи,
дрожат и извиваются, белея.

И, словно пламя стало ей невмочь,
она, его сорвав, швырнула прочь,
и властным жестом стихнуть повелела;
и пламя гневно на земле адело,
не покорясь. Она же, просияв
улыбкой победительницы гордой,
его убила, дерзко затоптав
своею ножкой, маленькой и твердой.

1906

ИЗ ЦИКЛА «ОСТРОВ»

Сверное море

Прилив по отмелям затопит путь,
вода подступит к ним со всех сторон,
и островок захочет отдохнуть.
Он вместе с жителями погружен

в волшебный сон, и бродят в этом сне
миры, кружащиеся молчаливо...
А обитатели не говорливы,
и каждое их слово в тишине

звучит, как эпитафия о странном,
к чему привыкнуть им не суждено.
И все, что им является давно,

с их детства, представляется неожиданным,
великим, неизбывным, первоизданным,
и с одиночеством слилось в одно.

*

То, что в душе, — то наше навсегда,
оно полно до края неизменно

существованием и неизречно.
Тот островок — ничтожная звезда;

пространством он на гибель обречен,
среди хаоса без следствий, без причин,
никем не узнан, не услышан он,
один...

Вокруг миры без смысла и сознания,
а он бредет — конца и края нет, —
ища вслепую путь других планет, —
скиталец на дорогах мироздания.

1906—1907

ЧАША РОЗ

Ты видел двух гневливых, злых мальчишек,
горевших как в огне, сплетенных в узел,
что в ненависти по земле катался,
как роем пчел преследуемый зверь;
актеры, одичавшие фигляры,
израненные бешеные кони, —
такой из них торчал оскал зубов,
что вот-вот череп выскочит из пасти.

Но ты узнал, как обо всем забыть:
перед тобою чаши совершенство,
ее наполненность цветеньем роз:
вся исходящая существованьем,
себя нам не даря, но к нам склоняясь,
она живет, чтоб нам принадлежать.

Безмолвье бытия, всерастворенье,
пространство взято в долг — не то, другое, —
пространство, что вещам совсем не нужно, —
почти что неочерченность, безбрежность,
и всё — внутри, всё — редкостная нежность

и самоосвещенность до краев;
подобное — где можно повстречать?

Какое чувство возникает там,
где лепестки касаются друг друга?
Взгляни: один, как веко, приоткрыт,
а дальше, глубже снова дремлют веки,
они смежились и десятикратно
как будто чье-то виденье затмили.
Но вот сквозь этих лепестков завесу
проходит свет, притекший прямо с неба.
Они фильтруют каплю мглы небесной,
что жарко обжигает гроздь тычинок,
рождая в них желание подняться.

И в розах есть движение — погляди:
в их жестах — малый угол отклоненья,
он был бы незаметен, но лучистость
расходится венцом по всей вселенной.

Взгляни на белую — она в блаженстве
широкими раскрылась лепестками,
как из воды восставшая Венера;
а та, краснеющая, смущена
и так легко к бесчувственной склонилась,
которая о ней и знать не хочет,
а там — совсем холодная стоит
среди расцветших и почти опавших.
То, что опало, — тяжело и легко,
оно — как плащ, как ноша и как крылья,
и, может быть, могло бы маской стать,
и опадает, как перед влюбленным.

Они могли быть всем: у этой, желтой,
вид кожуры, которая недавно
еще тугое тело облекала
плода с оранжево-красным соком.
А этой расцвести так было трудно,
что розовость ее — ей нет названья —
приобрела сиреневую горечь.
Батистовая — может быть, она
сорочкой нежной в платье затерялась
после того, как вместе их сорвали
в купальне одинокой на рассвете?
А эта здесь — опаловый фарфор
китайской чашечки, такой же хрупкий,
он мотыльками светлыми роится,
а в той — содержится она одна.

И все они наполнены собою,
ибо наполненность собою значит:
весь внешний мир, и дождь, и грусть, и ветер,
весны раздумье, бегство и тревогу,
и зов судьбы, и мрак земли вечерней,
взлет облаков и их преображение,
и дальних звезд туманное дыханье —
всё горсточкой в себе сосредоточить.

И вот оно лежит в раскрытых розах.



«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

(Часть II)

ОСТРОВ СИРЕН

После ужина, когда вопросы
задавались гостю иногда, —
как живут и плавают матросы
и какая в море ждет беда, —

отвечал он: не понять, какие
нужно здесь употребить слова,
чтоб из бездны моря острова
выступили нежно-золотые, —

а явление их ведет к тому,
что пучина вдруг угмонится,
серебристый свет сменяет тьму,
и испуганным матросам мнится,

будто их тихонько окликают,
будто там, на острове, поют,
и они на весла налегают
и гребут

прочь от этой бездны, их влекущей
в смертоносную морскую гладь,
и от этой тишины поющей —
с нею никому не совладать.

1907

ИЕРЕМИЯ

Некогда я был нежней пшеницы,
ты ж, безумный, обронил слова,
что сумели в сердце мне вонзиться,
и оно теперь как сердце льва.

Рот мой стал кровоточащей раной —
прежде это был ребенка рот, —
бедствия пророка неустанно,
ужас сеет он за годом год.

Я — глашатай черного и злого,
всех тобою созданных скорбей —
не снести мне жребия такого,
ты меня оставь или убей.

Но когда, на голых скалах стоя,
бедами и разрушеньем сыты,
мы стопы направим в пустоту,
я, тобой разрушенный, разбитый,
исцелюсь от бешеного воя
и свой прежний голос обрету.

1907

НОЧНОЙ ВЫЕЗД

Санкт-Петербург

Тронули лихие вороны,
двух орловских рысаков полет...
Фонари, колонны, постовые
молча промелькнули у ворот.
Непривычно тихо и светло...
По Неве, по мостовой торцовой
и по набережной дворцовой
нас как вихрем пронесло.

В этом полуобморочном бдении
где земля? Где небо? Где река?
Летний сад в задумчивом томлении...
И летят копыта рысака
мимо легких этих изваяний,
мимо неуснувших этих зданий,
мимо их дремотных очертаний...

Город будто перестал
в тот короткий миг существовать,
продолжая только умолять,

как больной безумец, о покое,
словно в голове его царит
путаница давняя, и мысли
паутиной жесткою нависли,
переволоченные в гранит,
а гранит — он чувствует — в ночное
небо непомеркшее летит..

1907

ПОРТРЕТ

Элеонора Дуза

Чтобы это мощное страданье
не ушло с ее лица, — готова
сквозь трагедии свои всё снова
все черты свои она нести,
как букет увядший — так небрежно,
чтоб внезапно туберозой нежной
дать улыбке робкой расцвести...

Но цветок опавший позабыт;
томная, с незрячими руками,
вновь проходит чуждыми путями

и слова чужие говорит
(в них есть рок, звучащий чьей-то
тайной),

и всему глубинный смысл дарит,
рвущийся из недр, необычайный:
это словно скал рыданье...

И внезапно, голову подняв,
как ненужные, слова роняет,

ибо ни одно не достигает
горестной действительности той,
что она с собой несет:
это — как сосуд над головой,
поднятый над славою, плывет
вереницей многих вечеров...

1907

ПАВИЛЬОН

Половиц заброшенных скрипенье,
двери замутненное стекло, —
здесь во всем дыханье приключений,
музыка улыбок и движений,
сладостного счастья воплощенье,
что, таясь, манило и влекло...

И гирлянды по карнизу крыши,
над дверьми, что в пустоту ведут,
и пустые маленькие ниши
все же повествуют про уют, —

и, болтая с ветерком пытливым,
эти камни всех уводят в плен;
даже герб как бы запечатлен
на письме, небрежном и игривом...

Чувства неизжитые лелея,
все кругом и плачет и болит,
и в слезах плывущая аллея
все о прошлом говорит, —

и на постаментах угловых,
завершая фриз многофигурный,
высятся надтреснутые урны,
с пеплом радостей былых.

1907

МЯЧ

О пестрый шар, теплом двух рук согретый,
ты их тепло в полете раздаешь,
словно свое: что не могли предметы
в себе сберечь, то ты у них берешь, —

все, что не вещь, и все же вещь вполне,
и все, что невесомо, но предметно,
и в нас не ускользает неприметно,
и все же существует не вовне,

а вскользь и мимоходом... Не решив,
чего желать — паденья или взлета,
бросок с собою взяв и отпустив,
слегка застыв в раздумьи поворота, —
ты всех играющих установил
в фигуре танца, в движущийся круг,

и устремился вниз, желанный, зримый —
легко, неотвратно, вдруг, —
и в ковш воздетых рук пал, недвижимый,

1907

ДЕТСТВО ДОН-ЖУАНА

И в стройности его — предвосхищенье
осанки, что всех женщин покорит;
улыбки чуть заметное движенье
о склонности внезапной говорит

к прошедшей мимо или к той, печальной,
чей тайный зов портрет ему принес:
уж он не тот юнец сентиментальный,
по вечерам растроганный до слез...

Уверенность в себе — его отрада;
благоволенье женщин ощутив,
сносил он стойко пристальность их взгляда,
всю меру их восторга, их призыв.

1907—1908

ФЛАМИНГО

Париж. Jardin des Plantes

Их будто Фрагонар изобразил
и белый с красным цвет едва наметил —
как некто спрошенный друзьям ответил,
что он в подруге розовость любил,

румянец сна, — так, словно на картине,
стоят они на розовом стебле,
расцветшие, склоненные к земле,
немногим уступающие Фрине

соблазнами своими... И, немея,
слегка нахохлившись, сгибают шеи,
чтоб спрятать глаз в черно-багровый пух.

Тут резкий крик пронесся по вольерам;
они же, вздрогнув, затихают вдруг,
отдавшись снам, мечтаньям и химерам.

1907—1908

**ВСТРЕЧА
В КАШТАНОВОЙ АЛЛЕЕ**

В аллее затаилась глубина;
он шел, — вокруг все тускло зеленело,
прохлада в мглистый плащ его одела,
как вдруг на том конце, как из окна,

откуда-то из пламенного лета
фигура женская взялась,
вся солнечными бликами одета,
гонимая вперед волнами света,
и, вся переливаясь и светясь,

она несла с собою брызги эти,
плыл в белокурых всплесках каждый шаг...
И вдруг, как будто канув в полумрак,
глаза возникли, словно на портрете,

и ожили, вплоть до дрожанья век,
черты лица, как будто вновь рождались...
В тот миг они друг с другом поравнялись, —
все стало вечным, и ушло навек.

1908

СТРАННИК

Чужд заботам, шуму и тревоге,
ни на чей не откликаюсь зов,
приходил и снова был таков,
ибо эти ночи на дороге

он любил и с вождельем ждал.
Множество ночей он пробуждал
под сияньем звезд, что освещали
этот сонный мир и эги дали —
он, как битву, ночи наблюдал;

а иная, под луной немая,
как на щит селенья поднимая,
то сопротивлялась, то сдавалась,
и вела то в парки, то в именья;
здесь он даже на одно мгновенье
помышлял остаться, но казалось,
что ему теперь не жить нигде;
и уже за первым поворотом
первый мост, а за десятым, сотым
город, словно тонущий в беде,

Только все увидеть и отбросить,
и мечта о доме не проснется —
счастье, слава, собственность — всё дым...
Но иной раз будто он очнется —
это стертый камень у колодца
вдруг ему почудился родным.

1908

ПОХИЩЕНИЕ

Как часто ребенком она спозаранок
за ограду бежала прочь,
встречая ветер и ночь,
чтоб с ними сдружиться (одна, без
служанок);

но разве свирепая буря могла
в клочки разорвать этот парк огромный,
как совесть ее теперь порвала, —

в тот миг, когда с лестницы, легкой
и тонкой,
он поднял ее и понес, как ребенка, —

туда, где возок их ждал.

И вот темнота над нею сомкнулась,
погоня и страх притаились внутри,
возок все стоял...
Она же холодной обивки коснулась,
и мгла и озноб были в ней самой,

потом лихорадочно в плащ завернулась
и тронула волосы быстрой рукой;
и тут что-то чуждое к ней потянулось,
шепнув: «Я с тобой...»

1908

ЧИТАТЕЛЬ

Свое существование прекратив,
в чужую жизнь он вторгнуться стремится,
и только следующая страница
иной раз означает перерыв...

И матери родной бы не узнать
его, склоненного и всю тенью
припавшего к листам... Мы по теченью
привычностей плывем — нам не понять,

что взгляд его таит, со дна идущий,
еще дрожащий дрожью тех вещей,
из недр повествования несущий
в наш вещный мир призыв из глубины, —
совсем как у задумчивых детей,
не до конца расставшихся с игрою...
Черты его, нам кажется порою,
с тех пор навек изменены...

1908



«ДУИНЕЗСКИЕ ЭЛЕГИИ»

ТРЕТЬЯ ЭЛЕГИЯ

Милую петь — одно, увы, а другое —
петь о несправедном боге, текущем в крови.
Юноша, деве послушный, — немного он знает —
прежде чем девушки ласка утешит его —
о властелине страстей, что в одиночества час,
ах, из тумана поднявшись, ночь призывает,
гордо главу подъявля, к деяньям мятежным.
О, живущий в крови Нептун с ужасным трезубцем.
О, что за ветер могучий исторгнут божественной
грудью.

Слышишь, как ночь содрогнулась? О звезды,
уж не от вас ли — приверженность к лику
любимой?

Может быть, юноша знает его очертанья,
ясную их чистоту, ясность созвездий познав?

Но, увы, не тебе и не матери даже любимой
не удалось натянуть лук его темных бровей,
Нет, не тобою, о девушка, нет, не тобою

губы его изогнуты в мощном движеньи.
Думаешь, вправду летящая эта походка
так его потрясла, шагов твоих ветер?
Сердце его ты спугнула, но ужас древнее
он испытал, впервые к тебе прикоснувшись.
Как ни зови, но его из тьмы не дозваться —
пусть даже рад он уйти. С каким облегченьем
вжился он в сердце твое, как бы вновь зачинаясь.
Где же зачатъе его?
Мать, ты его зачала, он в тебе стал малюткой;
новым он был для тебя, и ты заставляла
мир ласкать его глаз, отводила чужое.
Ах, эти годы прошли, когда стройною тенью
ты заслоняла пред ним хаос, царящий вокруг.
Многое скрыть ты смогла: комнаты мрак непонятный
в благостный был обращен, сердцем смогла ты
очеловечить пространство суровых ночей.
Нет, не во тьму, нет, в твою светлую близость
ты придвигала свечу, сиявшую дружбой.
Если в углу заскрипит, ты ему объясняла
все — будто знала давно, где половицы скрипят...
Он же слушал тебя и смягчался. Всего добивалась
ты своим нежным усиьем; скрывалось за шкафом,
в плащ завернувшись, грядущее. В складках портьеры
спрятаны были судьбы ужас, и тьма, и тревога.

Сам он, утешенный, тихо смежая ресницы,
сладость сна предвкушал и был в окруженьи
нежной заботы твоей, как за легкой завесой,
и защищенным казался... *Внутри же*
кто защитит его? Прошлое в нем восставало.
Ах, не могло быть спасенья ему: в сновиденья,
как в лихорадку, в глухое, дремотное он погружался,

он — этот новый, стыдливый, как был он опутан
темных событий и тайн вширь раскинутой сетью,
стаей причудливых форм, слившихся в зверском
обличье,

льнувших к нему. А он, им отдавшись, любил их.
Дикость свою он любил, внутренний мир свой,
эту дремучесть свою, где на обломках скалистых
высилось юное сердце. Любил. Но отринул —
вдаль, за пределы истоков своих проникая,
где и рождение его уж забыто. С любовью
он углублялся в древнюю кровь, в те ущелья,
где лежало ужасное, предками сытое. Хитрым
взглядом оно подмигнуло, его узнавая.

Право, оно улыбалось... Не часто
ты ему нежно так, мать, улыбалась. И как же
не полюбить за улыбку? *Раньше твоей* ведь
эта возникла любовь, — когда ты носила ребенка,
было оно вместе с ним в живительной влаге.

Видишь ли, мы не способны любить, повинуюсь
зову весны, как цветы, — нет, мы любим,
соком питаюсь из недр первобытных. О, знай же,
девушка: любим в себе мы не то, что единожды
будет,

но что вечно в нас бродит; не это дитя,
любим мы предков — обломки тех скал,
что в недрах у нас залегли; любим иссохшее лоно
многих тех матерей; и безмолвье
облачной местности, тусклой, где судьбы таятся:
все это, девушка, было и прежде тебя.

Ты же, не ведая, вызвала к жизни
прошлое в любящем. Древние хаосы чувства
всплыли наверх из существ отошедших. Что за

женщины злобой зажглись к тебе. Ярость мужскую
в жилах его распалила ты. Мертвые дети
вдруг потянулись к тебе... Тише, о, тише,
будь же ласкова с ним, будь с ним добра и ровна,
в сад его уведи и дай ему ночи
преобладанье...

Утешь его...

1912—1913



«СОНЕТЫ К ОРФЕЮ»

ИЗ ЧАСТИ I

О, дерево растет! О, нарастанье!
То нарастает звук: поет Орфей.
И смолкло все. Но и в самом молчаньи
идет преобразование вещей.

Из нор, из глубины лесистых далей
спешили звери, покидая бор:
не потому, что каждый был хитер, —
они ведь не из страха умолкали,

а чтобы слушать. Тот, кто завывал
и кто ревел, — он был для них ничтсжен.
И там, где было хижины подобье,

куда и вход почти что невозможен,
откуда всякий взглянет исподлобья,
ты дивным пенъем храмы воздвигал.

*

Тот лишь, кто с лирой своей
не расставался,
кто ей и в мире теней
верен остался,

тот лишь, кто с мертвыми ел
мак, не гнушаясь, —
тот бесконечность воспел,
струн не касаясь.

Пусть, отраженный на дне,
образ расплылся:
образ познай.

Только на той стороне
всем нам открылся
вечности край.

*

Пусть наша жизнь — облаков
тающих тени,
все же в основе основ
нет изменений.

Над быстротечностью той
плыл, пламеня,
звук первозданный, живой
лиры Орфея.

Страсть нам понять не дано,
нам не понять и страданья —
где наш конец? — Расстоянье

в сумраке скрыто.
Песни звучанье одно
в мире разлито.

*

Бога пою, воспитавшего слух
всякой твари... Я помню: весна,
я — в России; смеркается; вдруг
на поляне — лошадь, — одна...

Как бежал этот конь из деревни прочь,
свою привязь влача за собой;
он хотел быть один — там, где темная ночь;
он скакал, тряся головой,

с разметавшейся гривой, скакал вперед,
несмотря ни на что, все быстрее...
Сколько дерзкой отваги, — и вот

он один в просторах полей!
Он и слушал и пел... Этот образ коня
в круг сказаний твоих
прими от меня!

*

Ты, о прекраснейший, ныне в звучаньях оживший,
бог, осажденный толпой разъяренных менад,
крики и вопли их пеньем своим усмиривший, —
из разрушенья возник божественный лад.

Но ни одна не разбила лиры твоей.
Камнем отточенным, яростный вопль испуская,
метили в сердце, — но камни, тебя достигая,
слух обретали, живыми их делал Орфей.

Все же свершилась менад жестокая месть, —
бог был растерзан... Но пенье твое подхватили
львы, и деревья, и скалы — всех их не счесть...

Бог вездесущий! Звучаний твоих красота —
отзвук той давней вражды, мы его уловили,
с этой поры мы — поющей природы уста.

ИЗ ЧАСТИ II

В вас, зеркала, еще многое скрыто:
в чем существо ваше, в чем закон?
Словно просветы незримого сита,
вы — перерывы в теченьи времен.

Зеркало, зал нежилых отраженья
в сумерках сможешь в себя вобрать,
люстра ветвящимся рогом оленьим
в твою неприступность входит опять.

Снова ты красочной жизни полно:
кто-то как будто внутри тебя скрылся,
с другими ты робко простилось давно...

Только прекраснейшей женщины лик
остался в тебе и в тебе растворился,
словно Нарцисс к нему, тая, приник.

*

Вам, о цветы, так близки вас державшие руки
(девушки руки, что вас сорвала), —

лежа в усталости томной, с землею в разлуке,
ждете в беседке, на досках стола,

влаги живительной, что вам дарует спасенье
от наступающей смерти, — и вот
подняты снова, и пальцев прикосновенье
вам такое блаженство несет,

бóльшее, чем вы надеялись, чем вам мечталось, —
трепетных, вас сжимает кольцом
стройный кувшин, и тепла девичьего малость,

вновь уходя, уведет грехи и недуги, —
сорванность ваша не станет концом,
станет цветеньем по воле цветущей подруги.

*

Все достиженье твое машина низложит,
если она утвердить в духе замыслит себя.
Этих божественных рук трепет она уничтожит,
новым чеканным резцом камни и скалы дробя.

Быстрая, всех настигать будет отныне повсюду,
фабрики шум ей под стать, ей тишина не нужна.
Это жизнь и есть, нипочём ей любая причуда —
с легкостью то, что создаст, то и разрушит она.

Все же для нас заколдовано существованье, —
мы еще верим в игру над нами парящих
сил, что постигнем ценою смиренных исканий.

Тайное все еще мало доступно словам...
Музыка, вечно нова, из обломков дрожащих
строит в безвещном пространстве божественный храм.

*

О танцовщица! Ты претворенье
всепреходящего в трепетный шаг, о, растет
вихрь этот в конце, это древо движенья,
власть его обняла завершившийся год.

А в пареньи твоём и в кружениях зримо
вдруг вершиной своей не оно ль расцвело?
Солнце оно и лето — и неизмеримо
это тобой излучаемое тепло.

Да, и оно плодоносит, древо экстаза.
Вот перед нами, очерчены вновь и вновь,
стройный кувшин и плавно созревшая ваза...

В образах этих — не сохранилось ли что-то,
что твоя капризная бровь
дерзко вписала в дугу своего поворота?

1922

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

* * *

Что делал бы я, не будь мне дана
способность песни слагать?
Когда по земле проходит весна
и поет — могу ли молчать?

И как бы я знал, что поет соловей,
что шепчет ручей в тиши, —
когда бы не эхо в груди моей,
не отклик моей души?

Любимая, как пережил бы с тобой
я нашего счастья пожар,
когда бы не этот заветный мой
песни божественный дар?..

1894

МАДОННА

...Она метнулась в церкви к аналою
и пала пред мадонной в исступленьи:
«Дай мне вкусить от твоего покоя,
даруй, измученной, мне исцеленье».

Но все струился дым голубоватый,
и все сверкали золотые розы,
пречистая не изменила позы —
она ведь не бывала виноватой...

1895

В ЗАРОСЛЯХ

Я знаю вдалеке откос:
искрясь, струя бежит,
он весь ольшаником порос,
там мельница жужжит.

И будто шорох мнится мне,
но шум ветвей затих,
и кто-то шепчет в тишине
мне Эйхендорфа стих...

1895

ЗАБЫТЬЕ

Уже старик рыбак вернулся
и на покой уводит челн,
а я на дюнах растянулся
и вслушиваюсь в пенье волн.

Звучит мелодией хорала
их песня, дивно хороша...
Уже забота задремала,
и вслед за ней уснет душа...

1896

СВИДАНИЕ

Ливень ужасный. «О чем ты хлопочешь?
Что ты затеял? В гостиницу?» — «Нет».
«Церкви закрыты». Но вот мой ответ:
«Эй, ты, возница, вези, куда хочешь!»

Пьяным такой экипаж на потребу,
жалкая кляча — везет не везет.
Кучер багровый до хрипа орет,
а в экипаже — ты, я, — и небо.

1896

* * *

Волны морские, мне дайте сравненье:
в любви все подобно морскому прибою —
то приближенье, то отдаленье, —
всепоглощенность серьезной игрою.

Розы и слезы — вместе с Венерой
вышла из пены целая рать
борений, сомнений, но полною мерой
воздаст поцелуй нам — победы печать.

1896

* * *

Пусть от бесцельных скитаний
ноги в пыли,
все-таки вижу в тумане
звезды вдали.

Пусть я, как девкою блудной,
осмеян толпой, —
путь мой, высокий и трудный,
увенчан мечтой.

1896

* * *

Язык наш стерт и некрасив.
Как быть словам без обновленья?
Как солнца описать явление
и колоколенки смиренье
в тени серебряных олив?

Как в щелях улиц описать
босую смуглую ораву?
Иные песни здесь по нраву,
словам иным дается право
под этим небом прозвучать.

1897

AVE

Я знаю погост за оврагом,
там все кругом цветет,
там время мерным шагом
походкой монаха бредет.

Стоит тот погост в отдаленьи,
там ночью огни горят,
а рядом, в соседнем селеньи,
давно уже дети спят.

1897

* * *

Ночь на канале. Куполами
венчанный мрамор и стекло.
Мерцают тусклыми огнями,
гондолы дышат тяжело.

Непонятые и чужие,
как бы приплыв из дальних стран,
они уйдут в края глухие,
в великой вечности туман.

1897

* * *

И это чудо: знать слова простые
и научить их, как им жить в стихах;
и это чудо: стебли трав сухие
носить короной царственной в кудрях.

И это чудо: утоляя жажду,
и воду освятить и водоем
и в дебрях жизни обрести однажды
свой путь в страну, что вечностью зовем.

1897

СТЕФАНУ ГЕОРГЕ

И сны мои заговорят не вдруг —
так трепетно их робкое молчанье.
Они молчат и ждут моих звучаний,
для них я — арфы долгожданный звук.

И вот они поют — почти как ты,
но в их словах есть робость выраженья:
они — как в темных водах отраженья,
твои — к воде склоненные цветы...

1897

ТВОРЕЦ

Не часто в жизни промчавшейся
нежданно касался нас
тихонько к нам постучавшийся
вечности творческий час;
как щемит и сжимается грудь,
мы остались вдвоем:
«Ты мне гостем единственным будь
на пиру одиноком моем»,

1898

* * *

В этом смысл всего пути:
вечером, бродя по саду,
тихо выйти за ограду,
чтобы к морю подойти.

Ветерок улегся в пиниях,
волны трутся о причал —
в этих чуть дрожащих линиях
есть начало всех начал..,

1898

* * *

Нежны, прозрачны вечера,
и эта тихая пора
вещам всего милей;
ведь вещи в дружбе с тишиной,
и льется теплою волной
молчание вещей.
И время, канув в тишину,
так немощно течет:
и вещи вольные в поход
вновь собираются в страну,
где всех их вечность ждет.

1900

СТАНСЫ

(Из стихотворений
к Пауле Бекер-Модерзон)

Я с вами там, в вечернем освещении,
и жизнь моя пылает и поет.
Я говорю, — но с прежним нет сравненья, —
привычных слов утрачено значенье,
так пусть мое молчание цветет.

Ведь песня — это многих душ молчанье,
что из души единственной звучит.
Вот с нами скрипка говорит, —
мелодия расходится лучами,
но глубже всех скрипач молчит.

Я с вами, робко внемлющие, с вами...
Я одинок, но наша связь крепка.
Меня не украшайте именами —
я с вами и без слов, издалека...
Так сад, лишенный свежести полей,
таит слова далекой вольной сказки
в тиши своих задумчивых аллей...

Вы чувству моему близки. И думаю
заветным. Те мгновения равны
иным часам с безбрежным белым фоном,
когда ищу звучаний тишины.
О музыка! Ты властвуешь над шумом,
тобой в едином звуке воплощенным, —
нанизывай жемчужин ожерелье...

В предмете всяком некто заключен.
Раскройте, двери каждого предмета!
Дыханьем музыки согрета,
цепь образов протянется дрожащих,
друг друга за руки держащих,
послушных повеленьям ритмов строгих,
которыми мы измеряем время...
На их челе — венков цветущих бремя,
они выходят из жилищ убогих...

*Я с вами, жаждущие песнопенья, —
звук бесконечен, но случайны мы;
без страха жду последнего мгновенья...
Ты, музыка, творишь. В твоём твореньи
единственность сквозь множество дана.
Ты создаешь образцы природы:
из многих жен сотворена Жена,
из девушек цветущих — хороводы
весенние, что выются вереницей...
И мальчики к тебе поднимают лица —
они уже тобой опьянены —
и старцам немощным твой голос снится,
и, пред тобою склонены,
мужчины тайной звуков смущены...*

Я с вами. Между братьев и растений
я сходное спокойствие встречал,
лишенное боязни утешенье
подобно сну. Вкушая наслажденье,
ты счастлив тем, что в этот миг познал.
Простая жизнь течет под небесами,
как навсегда открытые пруды,
ведущие беседу с облаками,
рождающие день с его ветрами
над ровною поверхностью воды.

Я с вами всей привязанностью чистой —
так любящих сестер благодарят;
души моей девический наряд
так скромнен, только кудри шелковисты...
Я рук ее не чувствую прохладу,
вкруг башни каменной брожу —
мечтаю, как ее освобожу,
как принесу ей вольность и отраду...

А я предамся ветру земному,
и он увлечет меня к той стене,
за которой в смутной, неясной печали
душа моя стонет... Ее вы узнали,
ее запомнили с той поры,
души моей нежные две сестры...

.
Побудьте же с ней при луне,
с такою прекрасной, с такой далекой.
Побудьте с невестой моей синеокой.
Скажите ей всё... О себе. Обо мне.

ДОМ

(Из пояснений
к картинам Генриха Фогелера)

На небесах одна звезда забыта,
дом ждет, а утро раннее в пути.
И окна, далее полные, открыты
всему, чему дано произойти.

Грядущее глядит ему в лицо, —
еще деревья спят в пространстве тесном,
и думает о завтрашнем, чудесном
его крыльцо...

1900

* * *

Сиротских мальчиков прогулкой дальней
по улицам проводят в воскресенье;
на белокурых — тень листвы осенней,
а темноглазые — еще печальней.

Они прошли — и опустел газон,
и дали улиц глубже и светлее,
и, как зеленый занавес, аллея
смыкается над ними с двух сторон.

А в сером доме с лестницей отвесной
ребенок одинокий у окошка
задумался: в приюте — сад с дорожкой,
и почему сироткам хоть немножко
не порезвиться дома в день воскресный?..

1901

* * *

Шумит поток... Но кто владеет
фонтанами, затихшими садами
и ветром в одиночестве полей?
Кто сделал, чтоб свершалось перед нами,
у нас перед глазами,
движенье смутное вещей?

Кто обнял мир вечернею порой?
Кто нежно так его к себе прижал?
(И разве же никто не замечал,
что кто-то поднял этот шар земной
и скрыл тихонько под своим плащом?)
В чьем взгляде любящем я отражен,
я, существо без формы и границы?
А ночью, когда в тень уходят лица,
к каким еще вещам я приобщен?

1902

РОДЕН
(Набросок)

Стоит одинокий ваятель,
нестареющий создатель
своих созданий.
И на руках его распростертых
парят, как на крыльях, вещи.

Наедине со своими руками,
в тяжком круженьи
рождающими камни.

Между каменных мертвых пород
он бессмертным камнем живет.

1902

РОДЕН

*Кларе. Нежной матери. Художнику.
Подруге. Женс.*

Жизнь мастера — неведомый мираж,
в туманный миф он рано превратился;
мы знаем вещи, в них он воплотился,
но не его: он не учитель наш.

Мы одиноки в том далеком крае,
где мост уже не сдерживает вод
и где волна, на берег набегая,
бормочет — словно книга нас зовет.

Грядущее то шепчет, то молчит,
уж мы не ждем его истолкованья, —
но на путях безвестных созиданья
нам голос друга дальнего звучит,
до нас дошедший сквозь миры молчанья.

1902

* * *

Где весны моей взлет?
Иль она уж умчалась?
Где ответ? Или ветром его унесло?
Все, что снилось, грустилось, мечталось,
и читалось — прошло.

Мне, быть может, еще предстоит
то, что жизнь ждала от меня...

1903

* * *

Проходит день — он так уже далек;
подробности его уже отпали.
И улицы свои раскрыли дали,
и, одинокий, зашумел поток.

Остались образы — один, другой,
а остального — не было и нет.
Лишь иногда вдали мелькнет предмет
и скроется, холодный и немой.

Дома сгрудились, в сумраке белея.

А я томлюсь в их тесной глубине,
об этом дне угасшем сожалея...
И гаснет тварей день, и день аллеи,
и розы день кончается во мне.

1903

ДЖОННИ ГИБСОНУ

Так бывает, и с нами порою бывало:
словно за дверью, жизнь остается вдали;
всякий избранный путь снова к началу
нас приведет, будто по кругу мы шли.

Все же, когда, перейдя от гнева к надежде,
к жизни прорвемся иным, непривычным путем,
то и она к нам придет, не чужою, как прежде, —
теплой, открытой, своею, как обжитый дом.

Радость тогда для нас превратится в призванье,
в плод наших ищущих рук, в созидательный труд,
прежних загубленных дней прекратится страданье,
дни эти к новому, к высшему нас приведут.

Все не таким представлялось в мальчишеском
детстве,
многое было и вправду только пустою игрой
и оказалось случайно с тобою в соседстве, —
нынче действительность ты получаешь в наследство,
то, что даешь ты, — вступает в жизненный строй.

Ибо действительность — то, что вокруг создавали, —
вот оно, здесь, и великое кроется в нем;
люди множество раз просыпались, вставали,
думали, строили планы, любили, страдали —
все это с нами, мы с этим живем...

1904

* * *

О, пусть вернусь к былым своим истокам,
людей лишь в их текучести познав,
обыденности чувств не восприняв, —
один, ничей и как во сне глубоком...

1905

КАРЛУ ХАЙДТУ

Так я иду, все проще и все зрячей,
сквозь мир в его явлении непростом;
уже предметы, лиц своих не пряча,
зовут меня и молят об одном:

пусть мой язык, и дальше не коснея,
их жизни истолковывает суть,
пусть сердцу, как в темнице, все большее —
мне будут дни и ночи все роднее,
и одиночества мне близок путь...

Как время, что на все кладет печать,
во всем участвуя, — с преображеньем
преображаться, с немотой — молчать,
а тем, кто чувствует, кто действует, — в их
рвеньи
сочувствовать, содействовать и знать:

таков мой тяжкий, несказанный труд.
Но силы, что меня к нему толкнули,
так нежно к сердцу моему прильнули,
в глаза смиренности моему взглянули
и ввысь меня тихонько увлекут,

1906

НАРЦИСС

И вот меня покинуло оно
и затерялось в ощущениях луга,
и мы уже чужие друг для друга:
ему познать преграду не дано.

И снова, снова к чуждым берегам
оно спешит, презрев мои границы;
пока его молю остановиться, —
оно уже не здесь, а там.

И даже сон не может нас связать.
Мою податливую сердцевину
плоть нежная покинула опять...
Печален я и пуст наполовину.

И вырастает сходное со мной
в заплаканных, текучих очертаньях, —
то, что могло возникнуть в молодой
и нежной женщине, в ее мечтаньях,

которых мне постигнуть не дано.

И вот люблюсь отраженьем странным

в колеблющейся влаге. Я давно
уже склоняюсь к ней челом венчанным.

О, отраженье грустное на дне,
среди немоты низринутого камня, —
печаль моя, бегущая ко мне,
из глубины мой образ принесла мне.

Неужто эта зыблемая твердь
со мной навек в союзе неизбывном?
Мой взгляд, во взгляде утонув призывном,
быть может, вправду означает смерть...

1906—1926

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Судьбу несет нам этот ветер. Пусть!
Пусть нас захватит жаркое, слепое —
тревога эта, а в тревоге — грусть.
(О, пусть придет, пусть встретится с тобою!)
Лети к нам, ветер, с нашею судьбою.

И этот ветер принесет нам весть, —
весть в трепете от слухов несказанных —
весть издалека: что́ мы есть.

...О, пусть бы так. Мы стали бы собой.
(Небесный свод бы в сердце всколыхнулся.)
А этот ветер вновь бы обернулся
великой, беспредельною судьбой.

1907

* * *

Осенью фасадов увяданье
в серых и коричневых тонах...
Непомерность жизни и страданья
настигает нас во всех вещах.

1907

* * *

Иной раз чувство города чужого
к тебе вторгается, тебе грозит, —
как будто места нет ему иного,
и целый мир в одном тебе сокрыт...

1907

* * *

Не доверяйся книгам; в них слилось
прошедшее с грядущим. Обращайся
лишь к сущему. Не слишком обольщайся
своею зрелостью. Так повелось:

вещам дано над нами возвышаться, —
мы к сути нашей лишь устремлены,
и жребий наш — гадать и сомневаться,
а вещи лишь внутри себя даны.

И даже если жизнь ты начинал,
свершая путь с усердьем небывалым, —
найдешь себе наставника и в малом
и не дождешься от него похвал.

1907

* * *

День, который словно в пропасть канет,
в нас восстанет вновь из забвения.
Нас любое время заарканит, —
ибо жаждем бытия...

1907

ЛЮБЯЩИЕ

Те двое как будто росли друг для друга, —
в их жилах кровь превращается в дух.
Тела их дрогнули осью упругой,
горячим вихрем охвачены вдруг...
Так знай же: жаждущих, их не обманут.
Взгляни: им дано испить благодать.
Пускай же они друг в друга канут,
чтоб друг перед другом устоять.

1908

* * *

Весть из дней младенчества приводит
нас к познанию нашего пути:
что ж, мы знали, что года проходят,
а теперь и нам пора пройти.

1909

ЛУННАЯ НОЧЬ

Эта дорога — словно пьянящий напиток,
медленно в заросли сада меня увела.
Месяц, о, месяц, вокруг — цветенья избыток, —
кажется, даже скамья расцвела..

Спишь иль не спишь? В тишине притаилось
крыльцо,
в чутких созвездьях окно твое серебрится,
ветер затих, и глядится
ночь так внимательно-нежно в твое лицо.

1911

ФРАГМЕНТ ЭЛЕГИИ

Как города мне воспеть, те, сохранившиеся
(что изумляли меня), — эти созвездья земные?
Ибо сегодня воспеть мое сердце желает
мир с его мощью. И жалоба даже
станет его прославлением от чистого сердца.
Пусть мне не скажет никто, что я не люблю
время свое; я им поднят, оно мне дарует
мой всеобъемлющий день, эти древние будни,
нужные мне для трудов, благосклонно смягчая
шум бытия немотой ночей небывалых.
Времени руки сильны, и если бы даже судьбою
было назначено мне внизу задышаться, —
что ж, я б старался дышать, — и все же согласен
был бы воспеть современность. Она же как будто
только желает, чтоб в эхо я превратился.
Некогда голос поэта носился над битвой, —
нынче металл загудел неслыханно грозно —
с будущим в бой вступает наша эпоха.
Зова поэтов за шумом борьбы она не расслышит.
Это и есть ее песнь. Пусть буду, как прежде,
я обращен к уходящему — нет, не для жалоб,

а ради восторгов. И если однажды,
видя, как что-то ушло, к жалобам я обращусь, —
вам не в упрек. Пускай молодые народы
прочь устремятся от тех бесславных руин,
пеплом покрытых давно. Что за величье
было бы в древностях, если бы в нашей нуждались
защите! Тот, кто замков старинных и парков
или фонтанов, ввысь устремленных,
чтобы низвергнуться вниз, и бесконечную
скрытую прелесть статуй или картин не познаёт
в трепете тайном, в робком смиреньи, — пускай он
прочь отойдет к повседневным заботам. Но где-то
все же величье настигнет его и тут же
в сердце его поразит...

1912

* * *

Жемчуг рассыпан. Увы, не шнурок ли порвался?
Но не собрать мне его, не скрепить; я не знаю,
где ты, любимая, ты бы его удержала.

Рано еще? Как предутренный час ждет рассвета,
бледный от прожитой ночи, жду я тебя;
и, как театр переполненный ждет, чтоб явился актер,
так и лицо мое, настезь раскрытое,
жаждет явления любимой. О, размечтался
я, как залив об открытом
море, и свет маяка мной играет;
или как ложе реки в пустыне мечтает о ливне,
или как узник безвинный недвижно ответа
ждет от звезды одинокой, глядящей в окошко;
или как тот, что
наземь бросает привычный костыль свой и после,
у алтаря распростертый, упрямо ждет чуда;
так вот и я: не придешь ты, так здесь я и кончусь.

Только тебя я и жажду. Трава на панели,
хилая, разве и знать не должна о весенних желаньях?
Как запретите ей чувствовать вместе с землею?
А месяц, чтоб в сельском пруде отразиться,

ГОЛУБИ

О, этот мягкий сизый поворот,
как бы лучом лампы освещенный,
и красный цвет, как дымкой затемненный, —
как будто это жертвы кровь течет.

Округлость, словно полная до края,
рукам протянутым себя отдаст,
всей формою сосуд напоминая, —
а дальше — взгляд, и двух зрачков контраст.

У шеи — будто вражьи пальцев след, —
уж не обряд ли это первобытный?..
Но хохлится затылок беззащитный —
природы успокоенной ответ.

1913

ФРАГМЕНТ ЭЛЕГИИ

Я здесь, соловей, я тот, кого ты поешь, —
в сердце моем твой голос могущество
обретет неизбежно...

1913

* * *

На станции унылой кто-то вдруг
кивнул кому-то. Легкое движенье —
и кажется, обласкан ты, как друг...
Рожденье взгляда.. В чем его значенье?
Где скрипки тонкий оборвался звук,
и в чьей душе он канул в отдаленье?

1913

* * *

В тишину ночей и в темноту,
словно к благостному устремляясь
и от суетного исцеляясь,
сердца преизбыток обрету.

1913

еще трепетали тобою, в испуге
уже отражая меня. И, быть может, одна и
та же птица в нас пела, —
вечером, порознь, в обоих?

1913—1914

* * *

Почти все вещи ждут прикосновенья.
За каждым поворотом, нас маня,
когда-то неприметное мгновенье
вдруг властно просит: вспомни про меня!

Кто выигрыш измерит наш? И в чем
разлука наша с прошлыми годами?
Ведь только то и остается с нами,
в чем мы себя, как в друге, узнаем.

И что в себя приемлем без изъятья:
о, дом, о, роща, о, вечерний свет...
Как страшно близок нам любой предмет:
он обнял нас и к нам упал в объятья.

Единое пространство, там, вовне,
и здесь, внутри. Стремится птиц полет
и сквозь меня. И дерево растет
не только там: оно растет во мне.

И все живет слиянностью одной.
Из недр моих забот воздвигся дом.
И я любим. И на плече моем
любимая в слезах найдет покой.

1914

* * *

Все-таки снова, — хоть местность любви нам знакома,
хоть знаем погост, где имен так печально звучанье,
и жутко молчащую пропасть, в которой кончали
многие, — все-таки снова уходим вдвоем
туда, под деревья, и все-таки снова ложимся
между цветами, где небо нам видно.

1914

К МУЗЫКЕ

Музыка: статуи дыханье. Иль, может быть, —
молчанье картин. Язык, при котором
уж нет языка. Ты — время,
ставшее вертикально к биению сердца.

Ты — чувство — к кому? О, чувств
превращенье —
во что? В ландшафты для слуха.
Ты — отчужденность, ты — выросшее за наши
пределы
пространство сердца. Заветное наше,
нас переросшее, из нас исторгшееся,
святое прощанье:
когда душевное нас окружает,
как привычная даль, как изнанка
воздуха:
так чисто,
огромно,
незаселимо.

1918

* * *

Природа счастлива. А нам знакома
борьба столь разных сил, и нет нам счастья:
в нас уживается весеннее ненастье,
и летний ливень, и раскаты грома.

В ком сердце вольное к просторам рвется,
в ком кроются глубины без конца,
а кто под налетевшим ветром гнется,
как ветка молодого дерева...

Кто, как поток, свергается в пучину,
чтоб счастьем броситься наперерез...
А кто, завидев горную вершину,
уходит вдаль, за темный край небес...

1919

ГАНСУ РАЙНХАРДТУ

Театр на жизнь как будто не походит, —
действительность он как бы перерос, —
и все же снова чудо происходит:
и все-таки ответы на вопрос
нам слышатся о жизни и о смерти, —
о, мы доходим словно бы шутя
до сути их. Играющему верьте!
Он — женщина, он — демон, он — дитя...
И снова,
 снова мы
 в его сетях!..

1919

* * *

Как все в картине объединено,
все правда в ней, и все необъяснимо.
И зреет дальше, дивно и незримо,
оно отныне с нами заодно.

Так знай же: нет преграды для души.
Неслыханная даль с тобой сольется,
и голос твой, что прозвенел в тиши,
в тех звездах отдаленных отзовется.

1919

* * *

О, первый зов, когда еще молчат
поющие весной!
Похож на крик, ножом рассекший сад,
кукушка, голос твой.

А ты зовешь, все вновь и вновь зовешь, —
так нас никто не звал, —
и этот зов, на песню непохож,
не ждет ничьих похвал.

А мы стоим — нас этот странный крик
остановил в пути...
В нем каждый раз — короткой встречи миг
и новое прости.

1921

* * *

Как часто мы слышим: поет ручей.
То будто время поет.
Но нет, не время, — это скорей
сама бесконечность течет.

Тебе порой эти звуки чужды,
вода — то здесь, то не здесь.
А то вдруг ты — камень у самой воды,
и в ней отразился весь.

Как все далеко и близко опять,
нет смысла ни в чем, и нетрудно понять...
Течет и течет вода...

А ты неизвестное любишь до слез,
чужой ручей пробежал и унес
все чувства твои, — но куда?

1922

ПЛОД

Сперва оно из почвы поднялось
и долго в глубине ствола молчало,
потом цветком горячим запылало
и вновь в молчанье облеклось.

И в летних дней медлительном томленьи,
свою борьбу с пространством ощутив,
оно свое познало напряженье
и соков дерева прилив.

И вот, плода овалом округлившись,
оно в себе затихло потому,
что, в сердцевине жесткой воплотившись,
вернулось к центру своему.

1924

**НОЧНОЕ НЕБО
И ПАДЕНЬЕ ЗВЕЗД**

Ночное небо тускло серебрится,
на всем его чрезмерности печать.
Мы — далеко, мы с ним не можем слиться, —
и слишком близко, чтоб о нем не знать.

Звезда упала!.. К ней спешил твой взгляд, —
загадывай, проси в мгновенья эти!..
Чему бывать, чему не быть на свете?
И кто виновен? Кто не виноват?..

1924

МАРГЕ ВЕРТХАЙМЕР

Все то, что дух из хаоса берет,
когда-нибудь живущим пригодится;
пусть это будет нашей мысли взлет, —
и та в крови всеобщей растворится,
чтоб дальше течь...

А чувство? Как понять его пути?
Ведь и ничтожной тяжести прирост,
чей след в пространствах мира не найти,
меняет суть и направленье звезд.

1925

* * *

И как звезда с звездой растается,
простимся мы, и ночь нас разлучит.
Безмерной далью близость обернется,
и эта даль нас вновь соединит.

1925

ДОБАВЛЕНИЕ К «ЧАШЕ РОЗ»

Написано для m-me Riccard.

Это пространство насыщено чудом цветенья.
Розы, помедлите!.. Падают их лепестки...
Вечером все нарастающий звук их паденья,
словно в партере слышны легких ладоней хлопки.

Время ль хотят поощрить, что их так нежно убило?
Или им жизни не жаль?.. Нам их так трудно
терять...

Красные стали чернеть. будто упали в чернила, —
бледных их бледность вдвойне постигает опять.

Потусторонность для них — в этих поблекших
страницах;
в книгах живет аромат, всюду вокруг он разлит, —
в наших любимых вещах, в складках, в коробках
таится
то, что с розой ушло, и то, что нам роза дарит.

1926

(ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ В БЛОКНОТЕ)

Ты — цель последняя моих признаний,
приди, ненсцелимая, ко мне, —
боль неизбывная телесных тканей, —
приди к горящему в твоём огне.
Так долго эта плоть сопротивлялась,
но вот в тебе, тобой я запылал,
былое пламя духа, кротость, жалость
на ад крошечный боли променял.
Очищенный, взошел я на костер
моих страданий — пестрых, многоцветных,
уже не чая благостей ответных
за сердца моего былой напор.
Так это я горю?.. Язык мой нем.
О, жизнь, о, жизнь: в инакобытии.
Все потонуло в забытьи.
Я в пламени. Неузнанный никем.

Середина декабря 1926

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу перевода положены тексты стихов Рильке, опубликованные в издании: Rainer Maria Rilke, *Sämtliche Werke*, hsg. vom Rilke-Archiv, in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Ernst Zinn, Bd. I—III, Wiesbaden, 1955—1959.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ СБОРНИКА
«ЖЕРТВЫ ЛАРАМ»

Сборник «Жертвы ларам» («Lagenopfer») вышел в свет в 1895 году. Вторично напечатан вместе с двумя следующими сборниками в 1913 году под названием «Первые стихотворения» («Erste Gedichte»).

В монастырских
коридорах Лоретто

Лоретто — монастырь в Праге.

Когда я поступил
в университет

Alma mater (лат.) — давнее студенческое прозвище университетов (буквально: благая мать).

Вечерняя прогулка

Дюу Геррит (1613—1675) — голландский живописец.

Летом

Влтава — река, на которой расположена Прага.

Злихов — во времена Рильке дачная местность к югу от Праги (теперь пражский пригород) на берегу Влтавы.

Смихов — пригород Праги на берегу Влтавы.

Лорелея. — Рильке, вероятно, называет здесь так край Вышеградской скалы (на берегу Влтавы), на котором расположены остатки древних укреплений, известные под названием Либушины лазне. По преданию, княжна Либуша губила своих возлюбленных; это могло напомнить Рильке знаменитую немецкую легенду о Лорелее.

Из детских воспоминаний

Голька — вероятно, название дачной местности или загородной дачи под Прагой.

Маленький *dráteník*

Dráteník (чешск.) — жестянщик, лудильщик, вообще странствующий ремесленник.

Kraicar (чешск.) — крейцер, мелкая австрийская монета.

Milost' rápnku (чешск.) — ваша милость.

ИЗ СБОРНИКА
«ВЕНЧА Н Н Ы Й С Н А М И»

Сборник «Венчаный снами» («Traumgekrönt») вышел в свет в 1896 году. Вторично напечатан в 1913 году в составе сборника «Первые стихотворения».

ИЗ СБОРНИКА
«П Е Р Е Д Р О Ж Д Е С Т В О М»

Сборник «Перед рождеством» («Advent») вышел в свет в 1897 году. Вторично напечатан в 1913 году в «Первых стихотворениях».

«А будут угрожать позором...»

Стихотворение входит в цикл «Матери».

«Мирное Ave с башен звучит»

Стихотворение входит в цикл «Венеция».

Ave (лат.) — название католической молитвы, которая начинается словами «Ave Maria» («Привет тебе, Мария!»). Так же называется колокольный звон, призывающий сотворить эту молитву.

I mulini

I mulini (итал.) — мельницы.

ИЗ СБОРНИКА
«РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

Сборник «Ранние стихотворения» («Die frühen Gedichte», 1909) включает лирику Рильке, созданную им в конце 90-х годов и частично опубликованную в сборнике «Мне на праздник» («Mir zur Feier», 1900).

«Девчонкой робкою
в семье...»

Стихотворение входит в цикл «Образы девушек».

«Тех женщин
уже не назвать молодыми...»

Стихотворение входит в цикл «Песни девушек».

ИЗ СБОРНИКА
«ЧАСОСЛОВ»

Сборник «Часослов» («Das Stunden-Buch») был издан в 1905 году. В него вошли стихи, написанные с 1899 по 1903 год. Сборник посвящен Лу Андреас-Саломе (1861—1937), немецкой писательнице, которая была одним из самых близких друзей Рильке с 1897 года до смерти поэта. Она родилась и воспитывалась в России, и именно под ее влиянием и с ее помощью происходило первоначальное знакомство Рильке с Россией, с русской литературой и культурой.

ИЗ СБОРНИКА
«КНИГА КАРТИН»

Сборник «Книга картин» («Das Buch der Bilder») был напечатан в 1902 году. Вторым, расширенным изданием был опубликован в 1906 году.

Рыцарь

Ганс Тома (1839—1924) — немецкий художник, завоевавший известность реалистическими работами, а с 1870-х годов выступавший с произведениями символистского характера.

Pont du Carrousel

Pont du Carrousel (франц.) — мост в Париже.

Вечер в Сконе

Сконе — область на юге Швеции.

ИЗ СБОРНИКА
«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

(Часть I)

Сборник «Новые стихотворения» (часть I) («Neue Gedichte») опубликован в 1907 году.

Пантера

Jardin des Plantes (франц.) — ботанический и зоологический сад в Париже.

К а р у с е л ь

Jardin du Luxembourg (франц.) — сад в центре Парняжа.

ИЗ СБОРНИКА
«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(Часть II)

Сборник «Новые стихотворения» (часть II) («Der neuen Gedichte anderer Teil») был опубликован в 1908 году. Сборник посвящен знаменитому французскому скульптору Родену, с которым Рильке был близок (особенно в первые годы своего пребывания в Париже) и который оказал большое влияние на усиление пластического начала в лирике Рильке. См. также вступительную статью.

П о р т р е т

Элеонора Дузе (1859—1924) — знаменитая итальянская актриса.

Ф л а м и н г о

Jardin des Plantes. — См. прим. к стихотворению «Пантера».

Фрагонар Оноре (1732—1806) — французский художник, мастер утонченно-эротической живописи.

ИЗ СБОРНИКА
«ДУИНЕЗСКИЕ ЭЛЕГИИ»

Сборник «Дуинезские элегии» («Duineser Elegien») был опубликован в 1923 году. Над стихами этого

сборника Рильке начал работать в 1912 году в старинном замке Дуино (по имени которого они и названы), на берегу Адриатического моря. Первая мировая война помешала Рильке продолжить работу над этими элегиями, которым он сам придавал особое значение, и он смог завершить их лишь в 1922 году, уединившись в башне Мюзот.

ИЗ СБОРНИКА
«СОНЕТЫ К ОРФЕЮ»

Сборник «Сонеты к Орфею» («Die Sonette an Orpheus») был опубликован в 1923 году. Написаны эти сонеты были в 1922 году в Мюзоте, в те же недели, когда Рильке завершал работу над «Дуинезскими элегиями».

СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

В з а р о с л я х

Эйхендорф Йозеф (1788—1857) — один из крупнейших поэтов немецкого романтизма.

Аве. — См. примеч. к стихотворению «Мирное Аве с башен звучит...».

«Ночь на канале.
Куполами...»

Стихотворение входит в цикл «Венеция».

С т е ф а н у Г е о р г е

Стефан Георге (1868—1933) — немецкий поэт, представитель немецкого эстетизма. Рильке встречался с Георге в 1897—1898 годах. Большое впечатление произвел на Рильке сборник Георге «Год души» (1897), непосредственно эмоциональный и лишенный сложной символики и экзотики.

С т а н с ы

Паула Бекер-Модерзон — немецкий скульптор, близкий друг Рильке и его жены, особенно в те годы, когда Рильке жил в Вестерведе.

Д о м

Генрих Фогелер (1872—1942) — немецкий художник, близкий друг Рильке с 1898 года. Принимал участие в оформлении книг Рильке, в частности сборника «Книга картин».

Р о д е н

(«Жизнь мастера — неведомый мираж...»)

Клара — Клара Вестхоф, скульптор, с 1901 года жена Рильке.

Д ж о н н и Г и б с о н у

Джонни Гибсон — шведский литератор, друг Рильке. Поэт останавливался в доме Гибсонов в Гетеборге во время своего путешествия в Швецию в 1904 году.

Карлу Хайдту

Карл Хайдт (1858—1922) — немецкий литератор, автор первой статьи, отметившей особое поэтическое значение сборника Рильке «Часослов». Хайдту и его жене Элизабет была посвящена первая часть «Книги картин».

«В тишину ночей
и в темноту...»

Стихотворение входит в цикл «Стихотворения к ночи».

Гансу Райнхардту

Ганс Райнхардт — швейцарский поэт, друг Рильке. В 1919 году Рильке гостил у Райнхардта в Винтертуре.

«О, первый зов,
когда еще молчат...»

Стихотворение входит в цикл «Из архива графа С. W.». Под этим названием Рильке объединил ряд своих стихотворений, написанных в ноябре 1920 года и в марте и апреле 1921 года.

«Как часто мы слышим:
поэт ручей...»

Стихотворение примыкает к сборнику «Сонеты к Орфею».

Марге Вертхаймер

Марга Вертхаймер одно время была секретарем Рильке в Мюзоте.

Добавление к «Чаше роз»

M-me Riccard — Паула Н. Рикар, друг Рильке в последние годы его жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Адмони. Поэзия Райнера Марии Рильке 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из сборника
«ЖЕРТВЫ ЛАРАМ»

Среднечешский ландшафт	27
Вечер («Алой вспышкой огня...»)	28
В монастырских коридорах Лоретто	29
Весна	30
Ночью	31
Майский день	32
Когда я поступил в университет	33
Вечерняя прогулка	34
Народный напев	35
Летом	36
Из цикла «Вигилии»	
«Покой, в полях сереющий...»	37
«Слышишь, мимо нас во мгле...»	37

Из детских воспоминаний	38
Маленький dráteník	40

**Из сборника
«ВЕНЧАННЫЙ СНАМИ»**

Из цикла «Сны»	
«Старой и заглохшей нвы...»	41
«Где ты, счастье взоров голубиных?»	41
Королевская песня	43
Из цикла «Любовь»	
«Как пришла любовь к тебе? Солнца лучом?»	44
«Мы так задумались глубоко...»	44
«В укромный, тихий уголок...»	45
«Над нами осенью дышали буки...»	45
«Во сне, а быть может, весною...»	45
«Жила без ласки, без привета...»	46

**Из сборника
«ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»**

«По сумеречной долине...»	47
«Как часто в смене душевных будней...»	48
«И разве то зовете вы душой...»	49
Песня девушек	50
«Как одиноко все и как бело...»	51
«Где бы розу поалее...»	52
«Как сны мои тебя зовут!»	53
«А будут угрожать позором...»	54

«Мирное Ave с башен звучит...»	55
I mulini	56
«Всегда бледна, всему чужда...»	57
«Весна бы тебе показала...»	58

Из сборника

«РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

«Мечтанья, это значит: все изведай...»	59
«Хотел бы садом быть — в тени глубокой...»	60
«Слова простые, сестры-замарашки...»	61
«Детских душ серебряные крылья...»	62
«Вновь сады эти в дружбе со мною...»	63
«В полях царило ожиданье...»	64
«Там пыльная и скудная земля...»	65
«Мне вечер — книга. Переплета...»	66
«Дрожа, ощущаю порою...»	67
«Мне страшно прислушиваться к словам...»	68
«О глубинная жизнь, о жизнь до слез...»	69
«Знаю: тайна жертвоприношенья...»	70
«Когда ты проходишь вдоль той стены...»	71
«Это розы проснулись...»	72
«Поздним вечером ветер вздремнул...»	73
«Девчонкой робкою в семье...»	74
«Тех женщин уже не назвать молодыми...»	76
«Вечером стали опять...»	77
«Как звать тебя — восход или закат?...»	78
«Кто может сказать мне, куда...»	79
«Тьма вырастает, как город-спрут...»	80
«Случалось ли тебе переживать...»	81
«Ты не горюй, что давно отцвели...»	82
«Когда опять прольется свет луны...»	83

**Из сборника
«ЧАСОСЛОВ»**

Из книги «О монашеской жизни»	
«И час этот пробил, ясен и строг...» .	84
«Моя жизнь — нарастающее круженье...»	85
«На рубсже всков мой век течет...» .	85
«Тебя во всех предметах я открою...» .	85
Из книги «О паломничестве»	
«В деревне той стоит последний дом...»	87
«Уже земные короли...»	87
«Все станет вновь великим и могучим...»	88
«Уж рдеет барбарис, и ароматом...» .	89
Из книги «О бедности и смерти»	
«Господь, большие города...»	90
«Но города, упрямы и нелепы...» . .	91

**Из сборника
«КНИГА КАРТИН»**

Вступление	92
Рыцарь (Из стихотворений к шестидесятилет тию Ганса Тома)	93
Песня статуи	95
Музыка	96
Люди ночью	97
Из чьего-то детства	98
На сон грядущий	99
Страшно...	100
Молитва	101
Движение вперед	102
Серьезная минута	103
О фонтанах	104
Слепая	106

Одиночество	111
Осенний день	112
Осень	113
Мальчик	114
Сосед	115
Pont du Carrousel	116
Любящая	117
Воспоминание	118
Конец осени	119
Одинокй	120
Предчувствие	121
Вечер в Сконе	122
Вечер («Медлительно роняя одеянья...»)	124
Детство	125
Песня вдовы	127
Песня сироты	129
Заключение	130

Из сборника
«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(Часть I)

Пантера	131
Поэт	132
Смерть поэта	133
Расставанье	134
Автопортрет 1906 года	135
Карусель	136
Испанская танцовщица	138
Из цикла «Остров»	
«Прилив по отмелям затопит путь...»	139
«То, что в душе, — то наше навсегда...»	139
Чаша роз	141

Из сборника
«НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(Часть II)

Остров сирен	144
Иеремия	146
Ночной выезд	147
Портрет	149
Павильон	151
Мяч	153
Детство Дон-Жуана	154
Фламинго	155
Встреча в каштановой аллее	156
Странник	157
Похищение	159
Читатель	161

Из сборника
«ДУИНЕЗСКИЕ ЭЛЕГИИ»

Третья элегия	162
-------------------------	-----

Из сборника
«СОНЕТЫ К ОРФЕЮ»

Из части I	
«О, дерево растет! О нарастанье!..»	166
«Тот лишь, кто с лирой своей..»	167
«Пусть наша жизнь — облаков...»	167
«Бога пою, воспитавшего слух...»	168
«Ты, о прекраснейший, ныне в звучаньях оживший...»	168
Из части II	
«В вас, зеркала, еще многое скрыто...»	170

«Вам, о цветы, так близки вас державшие руки...»	170
«Все достижение твое машина низло- жит...»	171
«О танцовщица! Ты претворенье...» .	172

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ**

«Что делал бы я, не будь мне дана...» . .	173
Мадонна	174
В зарослях	175
Забывье	176
Свидание	177
«Волны морские, мне дайте сравнение...» .	178
«Пусть от долгих скитаний...»	179
«Язык наш стерт и некрасив...»	180
Аве	181
«Ночь на канале. Куполами...»	182
«И это чудо: знать слова простые...» . . .	183
Стефану Георге	184
Творец	185
«В этом смысл всего пути...»	186
«Нежны, прозрачны вечера...»	187
Стансы (Из стихотворений к Пауле Бекер-Мо- дерзон)	188
Дом (Из пояснений к картинам Генриха Фогел- лера)	191
«Сиротских мальчиков прогулкой дальней...»	192
«Шумит поток... Но кто владеет...» . . .	193
Роден (Набросок)	194
Роден («Жизнь мастера — неведомый ми- раж...»)	195

«Где весны моей взлет?..»	196
«Проходит день — он так уже далек...» . . .	197
Джонни Гибсону	198
«О, пусть вернусь к былым своим истокам...»	200
Карлу Хайдту	201
Нарцисс	202
Весенний ветер	204
«Осенью фасадов увяданье...»	205
«Иной раз чувство города чужого...» . . .	206
«Не доверяйся книгам; в них слилось...» . .	207
«День, который словно в пропасть канет...»	208
Любящие	209
«Весть из дней младенчества приводит...» .	210
Лунная ночь	211
Фрагмент элегии («Как города мне воспеть, те, сохранившиеся...»)	212
«Жемчуг рассыпан. Увы, не шнурок ли по- рвался?..»	214
Голуби	216
Фрагмент элегии («Я здесь, соловей, я тот, кого ты поешь...»)	217
«На станции унылой кто-то вдруг...» . . .	218
«В тишину ночей и в темноту...»	219
«Любимая, где же...»	220
«Почти все вещи ждут прикосновенья...» .	222
«Все-таки снова, — хоть местность любви нам знакома...»	223
К музыке	224
«Природа счастлива. А нам знакома...» . .	225
Гансу Райнхардту	226
«Как все в картине объединено...»	227
«О, первый зов, когда еще молчат...» . . .	228
«Как часто мы слышим: поет ручей...» . .	229

Плод	230
Ночное небо и паденье звезд	231
Марге Вертхаймер	232
«И как звезда с звездой расстается...»	233
Добавление к «Чаше роз»	234
〈Последняя запись в блокноте〉	235
Примечания	236

Стихотворения «Сосед», «Пантера» и «Карусель» переведены *Т. Сильман* совместно с *В. Адмони*.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Л и р и к а

Редактор Б. Томашевский

Художественный редактор Г. Курочкина

Технический редактор В. Алексеева

Корректоры Л. Никульшина, В. Урсс

Сдано в набор 7/ХІІ 1964 г.

Подписано к печати 12/ІІ 1965 г.

Бумага 70×90¹/₃₂ — 8 печ. л. =

= 9,36 усл. печ. л. 5,625 уч.-изд. л.

Тираж 35 000 экз. Заказ № 1302.

Цена 41 к.

Издательство

«Художественная литература»

Ленинградское отделение

Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 1

«Печатный Двор» имени А. М. Горького

«Главполиграфпрома» Государственного комитета

Совета Министров СССР по печати,

Гатчинская, 26.

